

ДАНИЭЛЬ ОРЛОВ

ЧЕШОК

РОМАН-ПРОЗРЕНИЕ



Даниэль Орлов

Чеснок. Роман-прозрение

«Издательские решения»

Орлов Д.

Чеснок. Роман-прозрение / Д. Орлов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-969663-2

Герои романа — прямолинейные, честные мужики, совершенно не вписывающиеся в современную парадигму успешного человека. Их можно назвать «антикреаклами», так как они не хотят и не умеют юлить, а живут, что называется, «по совести». Книга полна равнодушия и поиска сопричастности между личностью и судьбой страны. В эпоху резюме и попыток создать пассивный доход книга звучит как осознанный протест. «Жизнь норовит распасться на части, а Орлов ее сшивает». Евгений Водалазкин. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-969663-2

© Орлов Д.
© Издательские решения

Содержание

ЧЕСНОК	6
КНИГА ПЕРВАЯ	7
Часть первая	8
ДЕНЬ ШАХТЕРА	8
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Чеснок

Роман-прозрение

Даниэль Орлов

© Даниэль Орлов, 2019

ISBN 978-5-4496-9663-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЧЕШНОК

Роман в двух книгах, пяти частях с эпилогом.

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть первая

ДЕНЬ ШАХТЕРА

В день шахтёра в Инте били таксистов. Эта была старая, привычная забава. Им припоминали всё за истекший год: и несданную с рубля сдачу, и маршруты в объезд, потому что «там ремонт», и тройные тарифы новогодней ночи. Но главное им припоминали водку, ту которой таксисты торговали круглый год, водку-самокатку, водку-палёнку, водку по тройной цене, какую даже на пьяном углу никто не ломил, опасаясь, что, шахтёры, не найдя на троих, от жажды спялят весь квартал.

Таксистов вылавливали у вокзала, где они, подняв стекла и не выключив двигатели, ёжились от страха, но ждали пассажиров с пассажирского Котлас-Воркута. Те, кто сидел в машинах, ещё успевали дать по газам, не обращая внимания на колдобины и ямы в асфальте, цепляя днищем об их острые края с жестяным скрежетом и отчаянно давя на гудок. Но тех, кто беспечно или хуже того в надежде на пруху, оставляли таксомотор на площади, а сами шли на перрон поближе к прицепным ленинградским вагонам, где пассажир пожирнее, потому и навар с такого гуще, тех били сладостно.

Их забирали с перрона, клали ладони на плечи и с обеих сторон сжимали мускулистыми пальцами засунутые в карманы руки. Их вели за здание вокзала, на заплёванный и засанный пятачок в зарослях каких-то кустов и там молча проводили краткую красивую расправу, лупя по шее, отрывая рукава у кожаных курток, и ворота крепкой фланели клетчатых пакистанских рубаш. Что говорить-то? И так всё понятно. Понятно за что, понятно, почему. Напоследок таксист получал по носу и потом, отплёвываясь, сморкаясь кровью и сопя, долго топтался на небольшом пятачке в запахе мочи, собирая, выпавшую из карманов мелочь, ключи и ломанные сигареты. Зачастую таксисты сами были бывшими шахтёрами, вышедшими на пенсию или ушедшими с шахты по состоянию здоровья. Потому всё понимали. И прощали. И зла на своих не таили. Об одном лишь они сожалели, что пока они приводили себя в порядок и шарили среди мусора в поисках ключей от машины, по перрону, шаркая, прошли с тяжелыми чемоданами пассажиры прицепных ленинградских вагонов поезда Котлас-Воркута. Пассажиры прошли по перрону, скрылись в здание вокзала, появились из здания вокзала уже со стороны площади и сели в подошедший автобус.

1

Андрей попал в Инту в конце восьмидесятых и остался теперь уже, как думал сам, навечно. Северное небо врачевало, как врачевало до того сотни других несчастных. Оно буднично собирало молитвы, запечатывало в шершавые наощупь конверты из крафтовой бумаги и отправляло дальше туда, где если и жил адресат, то никак не проявлял свое существо.

На зоне он провел только год, потом был переведен в колонию-поселение, в которой по попустительству времени, потерявшему власть над людьми, жил вовсе уже вольно.

Наслушавшись рассказов «бывалых», начитавшись ещё за время службы статей в «Огоньке», ждал он от заключения лютого человеческого бесстыдства. И когда на этапе попал под горячую руку мальчишек-конвойных, получается, что всего-то на полтора года младше его призывом, и лежал в проходе, в луже собственной мочи из лопнувшего полиэтиленового пакета, прижав локти к животу и вжав голову в плечи, пока били пахнувшей гуталином кирзой, думал, что это только начало, и был готов смириться и уйти в такую глубину своей души, куда не долетают даже звуки орущих за сопками гусей. Но на зоне ему, против всех ожиданий, показалось спокойно и как-то справедливо. Эта почти математическая модель мироустройства,

когда от каждого поступка протянута ниточка к последствию. И ниточки те видны, и морозным утром они блестят от инея и на них, как на провода, может сесть малая таежная пичуга, чтобы чирикнуть что-то напоследок, перед тем как вовсе пропасть.

Бог милостив. Не подцепил он в колонии никакой лагерной бактерии, никакой болячки на душу, никакой подлости не совершил, и по отношению к себе подлости не запомнил. Только, когда уже выписали ему подорожные, и шёл Андрей на станцию, чтобы взять билет до Пскова, лопнул внутри него маленький кулечек со слезами. Шел, наступая на тонкие прутьики карликовой березки и прошлогодние метёлки иван-чая, напрямик по насыпи старой узкоколейки, проложенной от одного заброшенного лагеря до другого и пятый десяток лет после того дышащий в тундру разогретым дёгтем. Шел и плакал. Должно было расpirать его от легкости и счастья долгожданной свободы, а нет, кололо и мешало дышать шершавое и неудобное нечто под подкладкой куртки. И в том неудобном и маятном, копилась не то самая жестокая казнь, не то будущая сила. За два часа дороги сказал он себе то, о чем последний год все чаще думал, и на что никак не мог решиться. А перевалив через водораздел, посмотрев сверху на размазанный между сопкок белёсый плевкок крыш Харпа, вместо станции, спросил дорогу в здешнюю геологическую контору и договорился на сезон рабочим. И когда договаривался, уже знал, что сезоном дело не ограничится. Похоже, что придумывал он себе тогда новую жизнь, да и придумал.

После четырех месяцев работы «на камнях», как тут называли добычу поделочного камня для ювелирного и кустарного производства, Андрей получил щедрый расчет. Послушав других бичей, прыгнул в еле-колготящийся мимо сопкок дизель-подкидыш и отправился на сто десятый километр, откуда стартовали вездеходы, забрасывавшие буровиков в лесотундру, в долину Макар-Рузь, надеялся уговорить начальника отряда взять рабочим на буровую. Но все буровые расчеты оказались укомплектованными даже сверх штата. Бичи, те, кто порезвее, да поопытнее, успели столкнуться еще весной. По всему Полярному Уралу в этом году партий на зимник отправлялось мало, а лимит на буровые работы срезали еще год назад, когда Андрей был «на химии». Бурили только на алмазы, но на алмазы сидельцев вроде как не брали. Многие подумывали о том, чтобы переплыть Обь и «заброситься» с Салехарда с местными партиями по востоку Сибири и на Ямал. Рассказывали, что тамошнее управление получило квоту на сгущение сети и привлекает рабочую силу со всего Союза. Андрею идея не нравилась. Решил он всё же попытать счастья в Кожыме, небольшом рабочем поселке на участке дороги от Сейды до Котласа, возникшем, как и многие другие, на месте бывшего лагеря. Там, в Кожыме, располагалась база ВоГЭ, Воркутинской горной экспедиции, самой богатой и влиятельной конторы на всей этой огромной территории от Печоры и до Воркуты, от Усы и до Лабытнанг. Рассказывали, что раньше в Кожыме добывали кварц для отечественной электронной промышленности, но теперь промышленность пришла в упадок, а вместе с ней и поселок.

Андрей переночевал в котельной, куда его устроили случайные знакомцы, и на следующий день, не дожидаясь котлаского, сел в дизель Лабытнанги-Сейда, полный такого же, как и он, кочевого народа, перемещающегося по кромке полярного круга в поисках где бы чего заработать. В том поезде и поджидал его великий северный фарт. Чудом ли, Господним ли проведением, но оказался он в одном вагоне с самим начальником ВоГЭ, Егором Филипповичем Теребянко, возвращавшимся из инспекционной поездки по дальним отрядам, работавшим на западных склонах хребта Рай-Из.

Не случилось на северах человека более известного и уважаемого, нежели Теребянко. В тут пору ему только исполнилось тридцать шесть, но по хваткости, крутости нрава, а главное по вдохновляемому постоянным трудом научному таланту походил он не на ровесников или коллег из других управлений, а скорее на легендарных покорителей Севера, именами которых названы улицы в городах вдоль полярного круга. Да и сам он любил повторять на собраниях

коронную фразу-девиз: «Для севера нужен человек умноженный на два и чтобы всё остальное, кроме работы, торчало за скобками. Или так, или берите расчет и отправляйтесь в Крым сажать патиссоны». Эти патиссоны в Крыму появлялись в его речи то и дело и служили символом никчемной жизни никчемного человека. Сама максима среди народа, сжалась до лаконичного: «Или умножайся, или патиссоны сажай».

«Вы там про борт ничего не слышали? Нам перебрасываться надо. Третий день сидим, патиссоны сажаем, хрен тут умножишься», – скрежетало в рации, висевшей на столбе в балке начальника отряда на горе Черной, где колол камень Андрей в свое первое вольное лето.

Андрей никогда раньше Егора не видел, но едва состав заскрежетал тормозами на станции «Полярный», следующей за сто десятым километром, в вагоне зашептались: «Теребянко!» «Мужики, Теребянко к нам грузится».

А когда по проходу пошёл высокий, светлоглазый и светловолосый человек, не по-северному гладко выбритый, с аккуратно постриженными висками, в выгоревшей до белого цвета куртке-энцефалитке с шевроном «Мингео СССР», называемом в народе «поплавок», к нему потянулись со всех купе

– Здравствуйте Егор Филиппович!

– Наше почтение, начальник.

– Товарищу Теребянко привет, милости просим к нам.

Приглашали все. Теребянко протянутые руки не пожимал, кивал сухо, иногда ронял «Здравствуйте» и бухал по проходу закатанными «под манжет» болотными сапогами, отыскивая купе посвободней.

Андрей ехал один. Он сидел у прохода, где гулял ветерок, и читал книжку, обернутую в газету, прислонившись к блестящей штанге для ступеньки.

– Не помешаю? – Теребянко, не дожидаясь ответа, снял с плеча звякнувший чем-то металлическим рюкзак и положил на верхнюю полку.

– Да, пожалуйста, – Андрей потянулся и переставил на свою часть стола открытую банку «завтрак туриста» и бутылку лимонада «Дюшес».

Теребянко покосился на банку, на лимонад, потом на Андрея, потом на книжку, протянул руку и поманил пальцем. Андрей отдал книгу.

– Ричард Диксон? «Пособие по английскому языку для начинающих»?

– Ез ыт ыз, – угрюмо ответил Андрей.

– Сидел?

– Год на зоне и два химии.

– Статья?

– Сто шестая. Убийство по неосторожности. Условно досрочное.

– Дорожно-транспортное? – Теребянко сощурился.

Андрей кивнул.

– Образование?

– Среднее техническое.

– Специальность.

– Механизатор-тракторист, – четко выговорил Андрей и добавил, – четвертый разряд.

– Сейчас куда?

– Отработал лето на Рай-Изе, теперь домой, к родителям, в Псковскую область, – зачем-то соврал Андрей. Он вдруг застеснялся своей неустроенности и того, что нет работы.

– Могу предложить ко мне помбуром на зимний сезон. У меня некомплект. Пойдёшь?

– Я на буровой не работал, думал, если устраиваться, разве что рабочим.

– Разберешься, если механизатор. Идёшь?

– Иду, – улыбнулся Андрей.

– Ну и молодец! – Теребянко рассмеялся и протянул ладонь, – Егор, начальник здешней экспедиции.

С лёгкой руки начальника, все стали называть Андрея «Англичанином». Прозвище прилипло так крепко, что даже в табеле, в который тот сунул нос, чтобы посмотреть, сколько ему полагается отгулов, не смог найти своей фамилии и лишь потом, в самом верху увидел: «Англичанин».

Проработал Андрей у Теребянко три сезона подряд, почти не вылезая из тайги. В общепитие для сезонников не устраивался. В короткие промежутки между вахтами жил в Интинской гостинице со случайными людьми в номере на четыре человека, по два раза в день балуя себя раскаленным душем. Почти все что зарабатывал, отправлял родителям почтовым переводом. Оставлял себе по пятнадцать рублей в месяц, что хватало, как раз, на гостиницу, да на сигареты. Выпивку Андрей не жаловал, потому на вахтах не страдал, а в промежутках не экономил. Ходил в экспедиционном облачении – энцефалитке с чужого плеча, ладных рабочих брюках джинсового покроя из палаточной ткани и туристических ботинках, из которых торчали полосатые гетры. Зимой добавлялся ватник-бушлат с воротником искусственного сизого меха и вязаная шапочка с козырьком, которую здесь почему-то называли «шлема» с ударением на последний слог.

Осенью следующего года, в конце сезона, когда начался массовый исход ленинградских и сыктывкарских партий геофизиков, Теребянко, поймал Андрея на вертолетной площадке в Кожыме, где тот помогал выгружать ящики с керном из пузатого, воняющего горелым керосином Ми-8.

– На вахту не намыливайся. Этот сезон пропустишь вчистую. Сейчас собирай манатки и рысью на дизель до Инты, я договорился, тебя берут в тамошнее училище при комбинате. Документы твои уже прислали. Часть предметов зачтут, плюс дадут общагу, стипендию. Весной выпустишься, оформлю тебя в ВоГЭ в постоянный штат буровым мастером по пятому разряду.

– Так, а как же ребята без помбура?

– Не твоего ума дело.

Андрей замялся, вспомнив, что денег у него совсем не осталось, позарился давеча в универмаге на транзистор.

– Может быть, ещё одну вахту? Я все деньги домой отослал, и вот, – Андрей показал на «Альпинист», висящий на ремне, – Не удержался, купил себе музыку.

– Не обсуждается. У меня бичей хватает, мне специалисты нужны. Ерундой заниматься, да музыку слушать, всякий мечтает

«Для этого на севере делать нечего, езжай поливать патиссоны в Крым», – мысленно продолжил Андрей за Теребянко.

– Север такого не терпит, для этого вон, Крым. Хочешь бездельничать, езжай патиссоны поливать. Понял?

– Так точно, – по-военному ответил Андрей.

– Давай, Англичанин, успехов тебе, – Теребянко стукнул его легонько кулаком в грудь и широко зашагал в сторону балков, где жили, ожидавшие заброску на гряде шурфовики. Он прошёл по деревянным мосткам через ржавую грязь изборозждённую вездеходами до края вертолетки, повернулся и крикнул:

– Зайди в бухгалтерию, скажи, что я просил тебе матпомощь на сорок рублей выписать.

– Не поверят, – прокричал в ответ Андрей.

– Но Теребянко уже не слышал, борт завел двигатель, и шум винтов разметал слова по тундре.

2

Секретарша, принимавшая от Андрея анкету, которую тот заполнил аккуратным мелким почерком, таким же, как у отца, (он усиленно копировал этот почерк еще в школе), покачала головой:

– Если бы не Егор Филиппович, тебя бы не взяли. У нас ясное указание – с судимостью не брать. Мы подобный контингент стараемся спровадить с севера, а вам здесь словно повидлой намазано. Готовы прямо у ограды лагеря поселиться. Это зачем? Чтобы время на дорогу потом не тратить, когда опять подсесть решите?

Андрей молчал.

– Или ты, какой особенный, что сам Теребянко хлопочет. Родители, поди, важные? Из партийных секретарей? Номенклатура?

– Нет. Обычные родители.

– Отец механизатор, мать служащая, – прочитала секретарь в анкете, – Что значит, служащая? Где служит? Кем?

– В совхозном правлении, экономистом. Это важно?

– Всё важно, когда абитуриент с судимостью. Борис Борисыч говорит...

Но что говорит Борис Борисович по этому поводу, Андрей уже не узнал. Дверь приемной отворилась, и вошел он сам, плотный, начинающий некрасиво лысеть чернявый мужчина в сером немодном костюме. Он бросил взгляд на Андрея и заулыбался.

– Краснов?

Андрей кивнул и встал.

– Прекрасно! Раечка, – Он осёкся, – Раиса Евгеньевна, выписывайте Краснову талон на поселение в общежитие и сами позвоните Семёну, чтобы не дурил и не совал парня на первый этаж пока трубы не починит. Скажите, что я лично проверю, это Теребянковский кадр.

И уже опять обращаясь к Андрею:

– Как там тебя зовут? Аргентинец?

– Англичанин, – выдавил Андрей неожиданно склеенным голосом.

– Что за прозвище такое? В Англии был?

– Собираюсь, – Андрей прокашлялся, – Если пригласят.

– Ну, ладно. Экзамен по иностранному языку сдашь, может, и пригласят, – директор хохотнул, – по обмену опытом. Ну, будь здоров! И да, вот ещё. В комнатах чтобы не курили там! Спалите общежитие, нам новое строить не на что.

В училище Андрей оказался самым старшим на курсе. Учебный год месяц как начался, и первокурсники успели друг с другом перезнакомиться. Многие и без того были знакомы, ходили в одну школу и жили по соседству. О его судимости, как и о том, что за него хлопотал сам Теребянко, прознали быстро. Сперва сторонились как чужого, старшего и «с биографией», приглядывались, не станет ли буреть. Но Андрей держался с достоинством, на рожон не лез. Тогда местная шпана попыталась ради самоутверждения позадирать новичка, Андрей не реагировал. Лишь однажды поймал в узком коридоре возле столовой за локоть самого рьяного, сжал так, что у того слезы на глазах выступили и тихо, уверенно произнес: «Хватит». От него отстали.

Учился Андрей, как он сам это называл, «между этажами». Посещал какие-то уроки с первого, какие-то со второго курса, а все равно, оказывалось, что возникает, откуда ни возьмись, свободное время, когда ни на одном, ни на другом курсе нет предметов, которые ему поставили в индивидуальный план. В такие дни шел Андрей в библиотеку училища, брал книжки по истории или журналы «Наука и религия» и проводил целый день за столом, пока библиотекарьша не начинала греметь ключами и шелкать выключателями.

Библиотека занимала сдвоенный класс на первом этаже и тут, как и в общежитии, почти не топили. Горячая вода из котельной подавалась сначала на чердак, а только потом разлива-

лась по ржавым, забитым окалиной, трубам вниз по классам и мастерским. Библиотекарша сидела за своим столом, в закутке, огороженном стеллажами в куртке и пуховом платке. Против всех норм пожарной безопасности, по несколько раз на дню на тумбочке бурлил кипятильник, опущенный в литровую банку. Библиотекарша заливала кипятком в резиновую грелку, заворачивала ее в вафельное полотенце и так согревалась.

То и дело он чувствовал на себе ее щекотное внимание, но поймать его не удавалось. Девушка успевала отвести взгляд за вздох до того, как поднимал голову он. Андрей вроде бы не нарочно, или он только не признавался себе, но садился так, чтобы она могла его видеть, или он её. Хотя разглядеть-разобрать что-то из-за очков в широкой оправе, пухового платка, было сложно, почти невозможно. Казалось, что библиотекарша прячется. Но он видел кисть ее руки с пальцами-веточками, запястье в веснушках, слышал голос, такой как у одной актрисы в телевизоре, не то хрипловатый, не то мягкий. Такой голос, что хочется кино то досмотреть до титров в самом конце. И уже не важно, что голос произносит лишь формулу-заклятие «заполните формуляр», совсем неважно.

Что до нее, то ей казался интересным этот долговязый, островатый взглядом и жестом парень, или вовсе и не парень, а молодой мужчина. Мужчина с биографией, – как тут говорили.

Только стало известно, что в училище появился бывший зек, она никак не могла представить, что увидит его у себя в библиотеке, куда и обычные ученики заходили исключительно за учебными пособиями, да, может быть, за детективными романами, вырванными и переплетенными из Иностранки. А этот выбирал книги тщательно, словно бы учился по некой сложной программе, какая подходила бы скорее столичному университету, а никак не скромному ПТУ шахтерского городка. Читал, сидя за столом, закладок не делал, но всякий раз (она замечала это) перед тем, как закрыть книгу, записывал в блокнотик номер страницы, на которой остановился.

Андрей делил комнату с тремя ребятами со станции Сыня. Это был небольшой поселок, застрявший между сопок южнее Кожыма, но севернее Печоры. Поселок образовался, как и многие подобные на северах, на месте железнодорожного узелочка, зачатого одновременно с управлением пятисот первой магистрали в системе ГУЛАГ. От Сыни отходила однокорейка на Усинск. Потом в отдельных бараках тут же поселились конвойные, охранявшие здешние лагеря и железнодорожники, обслуживающие участок уже построенной трассы от Печоры до Инты. Со временем большинство лагерей закрылось, а бараки по досочкам и кирпичикам растащили жители для собственного строительства кособоких сараев, толпящихся почти у каждого дома. В поселке жили отставники, те, кто после службы по разным причинам не захотел уезжать на материк, их дети и даже уже внуки. К внукам, как раз, и относились соседи Андрея по комнате.

Почти все на северах, так или иначе, кормятся либо с зон, либо с лесосплава, либо с железной дороги. Уголь южнее Инты не добывают, потому с шахт жили от Инты и до Воркуты, да и то, пока те не стали массово закрываться. Все ребята выросли в одном дворе, учились в одном классе, а их отцы гоняли молевой сплав Ижемского лесспромхоза по Усе и Печоре, от начинавшего то и дело присаживаться на старикиевские коленки бывшего все-сильного Печорлесосплава. Лес, еще несобранный в плоты, шел по Усе до впадения в Печору. Там его уже вязали и гнали дальше аж до Архангельской области, где в Нарьян-Маре сползал с берега в пенную воду экспортный завод. От Сыни до Усинска тошнил дизельный рабочий поезд, на котором вначале отцы, а во время летних каникул и пацаны, ездили на смены. Работа эта считалась почётная, денежная. Но который год ходили слухи, что сплав скоро запретят, а весь лес станут вывозить железной дорогой. Да и самого леса с закрытием большого количества зон становилось все меньше. Раньше вырубки происходили планово, теперь все более хаотично. Что-то трескалось, хрустело по дальним станциям, что-то неуловимое происходило

со всем севером, а то и с целой страной. Увидеть и понять что, со склонов Уральских гор не получалось, но общее ощущение тревоги и перемен, которые для этих, редко посещаемых Господом, мест особо мучительны, передавалось от поселка к поселку.

Отцы ребят покумекали, обмозговали меж собой, посовещались с соседями и, отвесив отпрыскам звонких подзатыльников, отправили учиться на буровиков в Инту «чтобы все нормально было». Они и стали единственными друзьями Андрея. Иначе и быть не могло, если живешь в одной комнате и кипятишь один запрещенный электрический чайник на четверых.

Разница с ребятами в годах сказывалась. Андрей ощущал ответственность за «пионеров», так он их называл. Пионеры, по их понятиям и чувству вожака, старались старшему товарищу угодать, учитывая возраст того и отсидку, но Андрей заискивания сразу пресек и был им пусть командир и старший товарищ, но так, словно выпало им одно сражение на всех. Мальчишкам предстояло учиться два года, тогда как Андрею по собственному индивидуальному плану в мае назначили выпускные экзамены. Приглядевшись к ребятам (а показались они ему хоть и отчаянными матершинниками и дуралеями, но никак не бездельниками), решил Андрей, что на следующий год сможет убедить Теребянко тоже взять их в ВоГЭ.

Индивидуальному Андреевскому плану многие завидовали. Шутка ли сказать, бывший урка, а учится как министр, даже на обществоведение не ходит. Впрочем, весной, перед самыми экзаменами, обязали Андрея ответить у доски на вопросы по апрельскому пленуму партии. Но это было единственное исключение. Все контрольные писал Андрей на пятерки, так легко, словно было это для него делом привычным. Впрочем, не велика и наука тут преподавалась. Ничего сложного не было ни в тампонажных материалах, ни в организации устья скважин, ни в технологии бурения. Многое он уже постиг на собственном опыте за те три сезона, что работал на гряде.

В первый же день, еще в Кожыме, буровой мастер Максим Фёдорович Алимов, в бригаду которого Теребянко зачислил Андрея, критически оглядел новичка, хмыкнул и достал из выючника потрепанную книжку без обложки семьдесят шестого года издания, «Бурение скважин с целью разведки и поиска полезных ископаемых».

– Изучай, Англичанин. Послезавтра буду гонять по всему материалу. Посмотрим, что за кадр мне Егор подсунул.

Весь вечер и всю ночь просидел Андрей за книжкой в вагончике-балке, где его поселили, жег электричество настольной лампы, читал и, время от времени, вставал, чтобы подкинуть в печку дров. Октябрь случился холодный, с морозными яркими утренниками. Бичи, соседи по балку, проснулись рано, разворчались, что Андрей всю ночь не давал нормально спать своим светом и шелестом страниц, но ворчали беззлобно: это же как приятно встать, когда в балке натоплено. Сходили на завтрак в столовую рудника, вернулись. Бичи засели играть в буру, а Андрей вновь уткнулся в книгу.

– Эй, профессор, глаза попортишь, ты лучше нюхай страницы или лижи их, больше проку будет, – отпускал кто-то шутку.

– Лучше, конечно, пожевать, но тогда тебя Алимов уконтрапупит, – вторили первому шутнику, – но Андрей не обращал внимания. К вечеру он дошел до последнего параграфа и принялся читать по новой.

– Чувствую, сегодня тоже не достанет нам покоя, – рассмеялся краснолицый сухошавый лет сорока пяти рабочий Сергей Сергеевич по прозвищу Трилобит, старый теребянковский кадр, – Молодец, Анличанин, Максим таких любит, упорных. Давай, грызи науку, я бы и сам чего такое полистал, да после первых строчек засыпаю. Ничего с собой поделат не могу, потому вся моя работа – это поднимай, тащи, да картами шлёпай. А ты далеко пойдёшь.

По второму разу учебник Андрей проглядел за пару часов. Все уже спали, когда он отложил книгу на стол, накинул на плечи бушлат, взял пачку «Астры» и вышел из балка.

Нигде небо так крепко не прилипает к горизонту, как на Севере. И только здесь оно, расцвеченное зеленоватыми сполохами сияния, спекается за долгий полярный день в одно целое с тундрой. Пойдешь далеко-далеко в осеннюю тундру, если повезет, дойдешь до большой медведицы, а оттуда и до Оби рукой подать. Чиркнула по небу падающая звезда, и Андрей, стесняясь своего порыва, загадал, чтобы все было хорошо. Что имел в виду, спроси его, наверное, и сказать бы не смог, но ощущение правильности происходящего, знание пути – это чудесная смесь звериного чутья, нутряного голоса и шёпота всех неназванных духов места.

После завтрака Андрей поторопился к персональному балку Алимова. Тот встретил его на ступеньках приставной лестницы. Сидел в распахнутом бушлате, курил и грелся на осеннем солнце.

– Готов?

– Готов, – улыбнулся Андрей и протянул мастеру книгу.

– Ну, пошли тогда.

Они встали и по пружинящим деревянным мосткам словно затанцевали в сторону реки, где сшитые стальными скобами, жухли на солнце березовые брёвна вертолетной площадки. Возле площадки громоздились разномастные трофеи бурового скарба. Рядом стояли тягачи и передвижные буровые установки на полозьях с мачтами в походном положении.

– Это что? – Алимов указал рукой на один из прицепов.

– «Эм-Эр-пять-А», – уверенно отрапортовал Андрей.

Мастер посмотрел на него пристально и покачал головой,

– Надо было просто сказать «буровая установка», но так, конечно, правильно. Хорошо. А скажем, это что такое? – Алимов пнул носком ботинка ржавую трубу.

– Обсадная – с достоинством ответил Андрей, подошел ближе и добавил – для колонкового бурения, на замке.

– На замке... – повторил мастер задумчиво и вдруг резко, словно вел допрос, – Диаметр инструмента при забурировании?

– Сто двенадцать миллиметров

– Длина направляющей обсадной?

– Шесть, реже четыре метра.

– От чего зависит?

– От разрушаемости верхних пород.

– Диаметр скважины при бурении алмазной коронкой?

Андрей замялся, мучительно вспоминая. Почему-то эти числа показались ему важными, и он постарался их запомнить

– Ладно, не старайся. Вижу, что прочитал, – Алимов достал из мятой пачки сигарету «Космос» и чиркнул зажигалкой, выдавшей копящий язык пламени.

– Пятьдесят девять миллиметров, – выпалил Андрей, и губы его растянулись в счастливой улыбке.

– Да ты уникал, – присвистнул мастер, – Я это, наверное, только через год работы запомнил, все в справочник подглядывал.

Алимов подошел ближе и протянул Андрею сигареты, тот взял одну, поблагодарил, прикурил от той же бензиновой копилки.

– Ладно, Англичанин, похоже, сработаемся. Но у меня закон такой – пока план по метражу не выполнили, вахта домой не возвращается. И никаких вариантов, только сан-борт, если аппендицит. С больными зубами тоже сидят на вышке, плачут, но работают. Идёт?

– Идёт, – улыбнулся Андрей.

– И ещё: что бы одёколон не пить! Унюхаю, оштрафую на полевые. Понятно?

Андрей хотел сказать, что он вообще непьющий, но вместо этого опять просто улыбнулся.

3

Бурили по всей гряде. Казалось, что точки, на которые их забрасывали, и где они начинали монтировать установки, никак не связаны, но Андрей видел, что есть во всем этом строгая, только лишь на первый, непосвященный взгляд неведомая система, согласующаяся с геологической картой и той наукой, что правили здесь ленинградские и сыктывкарские геофизики. Любопытства ради он засматривался из-за плеча Максима Федоровича в карту, которую раскладывал на столе в вагончике геолог Дейнега, приписанный к тому же отряду, что и их буровой расчет. Видел изогнутые синие линии с цифрами, а в крест им параллельные линии с номерами скважин. Те, которые уже были отработаны, Дейнега обводил красной тушью и писал рядом какие-то, одному ему понятные, значения. Дейнега числился у Теребянко по договору с ВоГЭ, состоял в штате Сыктывкарского института геологии, где и получал официальную зарплату и полевые. Среди полевых имел кличку «Тёзка» из-за того, что звали его, как и начальника, Егором.

Оказались они с Егором ровесниками, оба июльские, потому быстро сдружились. Балагур и хохотун Дейнега легко сходилась с людьми, легко приятельствовал, так же легко командовал. На второй точке, куда перебросил их в конце октября вертолет, поселились поперек субординации уже в одном балке. И вечерами Егор, отодвинув в стороны полевые журналы, пикетажки, карты, доставал из выючника пошарпанную шахматную доску и расставлял фигуры. Белой и черной ладьи не хватало. Вместо белой, кто-то, уже очень давно, вырезал из подходящей по размеру чурочки неровный цилиндр с зазубринами бойниц на оголовке. А вместо черной ладьи стучала туда-сюда по клеткам пустая склянка от корвалола тёмно-коричневого стекла с голубой крышкой.

Чаще выигрывал Егор, Андрей совсем редко, лишь тогда, когда Егор, что называется, «отпускал», задумавшись о чем-то своем, помимо шахмат. Но Андрею играть нравилось. Нравилась стройность и логичность пешечного гамбита, эпическая фатальность эндшпиля, когда, загнанный в угол, его король оставался один на один с конницей Дейнеги.

Когда не играли в шахматы, читали под шипенье качающейся волны из транзистора. В углу под нарами, стоял коричневый выючник, набитый книгами и журналами – полевая библиотека, которую Егор выпросил до весны у Фёдора – начальника пятьдесят второй партии. Выючник этот, как и огромная алюминиевая фляга на тридцать литров с аккуратным круглым отверстием в крышке – составляли главное богатство ленинградцев. Всякий раз, когда пятьдесят вторая грузилась по весне на борт, бортмеханик, наблюдающий за тем, чтобы не было перегруза, цокал языком и качал головой, показывая явное одобрение хозяйственности и предусмотрительности ленинградцев. На севере со спиртным всегда тяжело, так что собственная самогонная установка могла в случае чего, привлечь оказию хитроватого негоцианта из интинского летного отряда, готового сменять на трехлитровую банку первача бочку с керосином для ламп или на какую иную твёрдую валюту вечного северного натурального обмена: сахар, рыба, лосятина, порох. На флягу многие, как тут говорилось, «делали стойку», но её геофизики увозили с собой каждую осень и хранили где-то чуть ли не в казематах Петропавловской крепости, тогда как библиотека зимовала на полевом складе вместе со старыми палатками и ржавыми чугунными печками.

– Зачем тебе это? Книжки сделают тебя несчастным, – говорил Трилобит, когда заставлял Андрея с книжкой в руках. – Ладно, если за науку, но вот так себе душу рвать чужой болью.

Впрочем, Трилобит, при внешней колючести, оказался добрейшим человеком, вовсе даже и не бичом, а постоянным сотрудником на ставке рабочего-бурильщика шестого разряда. Семья Трилобита: жена и две взрослых дочери, жили в Воркуте, куда тот отбывал между вахтами, всякий раз, тщательно выскоблив щёки и отгладив рубашку.

Мог Сергей Сергеевич работать и за помбура, поскольку из года в год, из сезона в сезон наблюдал он одни и те же операции, случаясь всякий раз на подхвате. Его добродушный мате-

рок поначалу сопровождал суету Андрея на буровой, пока тот не обвыкся. Одно дело книжка, другое дело, – настоящий запах горячего железа и солидола, визг лебёдки, лязг молотка о сталь и стон натянутого троса.

– Наголовник вначале, мать твою! А потом уже элеватор, – орал Трилобит, – хрен снимешь со свечи!

И Андрей, пачкаясь в смазке и глине, натываясь на всякое на нужном месте находящееся железо, сам, словно единственная лишняя среди этого порядка деталь, мало-помалу, но обретал собственный законный этому оркестру ритм, в какую-то особую долю согласующийся с ритмом работы людей и механизмов.

Когда же впервые самостоятельно, открепив патроны станка и подняв ведущую трубу до выхода из скважины бурильного замка, держащего всю бурильную колонну, заколотив накоонец подкладную вилку и уже зафиксировав снаряд на корпусе трубоизворота, Андрей вместе с Трилобитом отвинтил ведущую от колонны и аккуратно, нежно придерживая тяжелое железо, отвел станок от устья, услышал он одобрителное карканье Алимова: «Шарит Англичанин».

И в каждом тяжелом визге-скрежете трубоизворота, когда свечу за свечой поднимали на поверхность, мерещилось теперь Андрею это «шар-р-р-рит».

В училище, практические свои умения привел он в стройную систему. И лишь скрепив знаниями из методичек с картонными обложками и потрепанных учебников, полных подчеркиваний прошлых учеников, почувствовал себя в самом затворе, пусть в малой, но важной детали огромного механизма, крутящего само северное небо над цветной тундрой и чахлой тайгой.

На девятое мая, когда Андрей уже всю готовился к экзаменам, а кривляющаяся полярная весна еще не определилась, пришла она или нет, хотя пэ-тэ-ушная шпана уже ходила без шапок, заехал к нему в общежитие, по дороге из Сыктывкара в Воркуту Дейнега. Привез мало-солного хариуса и полотняный мешочек сушеных подосиновиков.

– А я, брат, женился, – продемонстрировал Егор новенькое, еще блестящее колечко на безымянном пальце, как только они нахлопались друг друга по плечам, – Красавица, сил моих нет. Тоже из Инты. В нашей лаборатории трудится.

Егор рассказывал про свадьбу, про молодую жену, про то, как они целый год присматривались друг к другу и впервые потанцевали только на институтский Новый год в доме культуры, а Андрей, слушая и кивая, неожиданно, супротив своего привычного лада, вдруг ощутил одиночество. Захотелось ему обратно, в домик, крашеный синей краской, и чтобы была весна, чтобы аисты сидели на гнездах, чтобы стучал вдалеке товарный состав, а в воздухе пахло медовым маем и мамиными блинами.

Свою личную жизнь, а вернее планы на таковую Андрей ни с кем он не обсуждал, да и не было у него никаких планов. Промеж мужиков такие откровения были не приняты, а с пацанами и говорить не хотелось. Те, напротив, не особо стеснясь присутствия Андрея, полоскали на языках своих одноклассниц, оставленных за сотню километров отсюда в Сыне. Они скабрезили, похотывали, но писали письма, старательно выводя слова, и юношеская влюбленность трогательно окрашивала их уши.

Посещали его иной раз ночами фантазии, в которых виделась ему рядом с собой некая женщина, но никого конкретного представить он не мог. То фантом походил на его первую любовь Людку, то на проводницу Ларису из поезда Котлас-Воркута, то на фельдшерицу в лагерной санчасти, жену прапорщика Мирзоева. Который год жил он в каком-то особом мужском мире, куда женщины попадали по случайности или чьему-то не то господнему, не то мужнину недогляду. Попадали парфюмерным облаком, оставшемся в длинном коридоре училища, окрашенным помадой окурком в пепельнице в комнате завхоза, или хрипотцой голоса библиотекарши в телефонной трубке, когда он звонил из общежития, чтобы спросить, до которого часа открыто.

– А тут сестра жены, кстати, живет, на углу Социалистической и Жданова. Один раз её видел, на свадьбе. Красивая, – Егор мечтательно поднял глаза к потолку, и поцокал языком, – Такая вся тонкая, волосы выются, чёрные-черные, но словно пруттики, жесткие. Мы когда танцевали на свадьбе, они щеку мою щекотали. И голос какой-то потусторонний. Но я женат, а это освобождает меня от страданий. Знаешь, чем прекрасно, как оказалось, положение женатого человека?

Андрей пожал плечами.

– Никогда не догадаешься! Прекрасно оно тем, что все остальные женщины теперь для тебя только товарищи и предмет абстрактного искусства. И в том есть единственное, что хорошего сделал человек супротив Создателя. Человек освободил себе время на работу и совершенство мира. Некоторые, правда, используют его на пьянство и безделье, но тех Создатель отличает от остальных людей красным носом и огромным животом.

Егор сидел на кровати Андрея, прислонившись к стенке и прихлёбывал из большой эмалированной кружки.

– Сейчас чайку выпьем и оставлю тебя наедине с твоими учебниками. Надо ещё к ней забежать, гостинцы передать. У меня целый мешок солонины и письмо. А через пару часов поезд, как раз, только доехать до вокзала.

Андрею не хотелось расставаться с приятелем, и он предложил составить компанию. Они вышли из общаги. У дверей курили, шурясь на солнце и то и дело сплёвывая с десяток парней в синих пэтэушных куртках. Привычный матерок отражался от глухой стены трансформаторной будки и возвращался обратно скабрённым эхом.

Хотя вдоль улиц ещё громоздились не успевшие почернеть сугробы, пахло в воздухе окончанием долгой зимы. Солнце светило как-то особенно лихо, ныряя в уголки глаз, уже не боясь, что загонят его прямо сейчас за горизонт. И в свете этого солнца далёкая водонапорная башня, сторожевой форт состарившейся в грехе тщеславия империи, казалась ярко красной. Берёзы вдоль улицы Жданова уже не пушились морозом, а чиркали по небу сухой тушью.

По случаю праздника по дороге попадалось много отчаянно пьяных, много сильно подданных. Пьянство здешнее такое же черное, как уголь, такое же злое, как долбёж пневмомолотка в очистном забое. Но в таких местах нет ему упрека. Если не завалило, не сожгло изнутри угольной пылью, пей и не требуй себе иного счастья, как только и жить.

Мимо, стараясь никого не задавить в праздник, прокрался непривычно пустой восьмой автобус, на котором ездили на смену. Дружинники, сердито трезвые, ходили по трое: к кино-театру «Мир» со всем сторон стекались компании. Сегодня там устраивали концерт.

Они свернули и подошли к трёхэтажному дому. Дейнега сверился с запиской, посмотрел на список квартир в парадной и уверенно указал на среднюю.

– Сюда. Ты как, поднимешься со мной?

Андрей уже было решил распрощаться и вернуться к учебникам, но то ли весенний ветер, то ли музыка, которая играла из репродукторов-колокольчиков на столбах, привели его в приподнятое настроение, и вдруг захотелось в гости.

Они поднялись на второй этаж. В подъезде ярко пахло щами. Егор позвонил.

За тонкой филенчатой дверью, приличной скорее какому-то учреждению, а не жилой квартире в городке у Полярного круга, послышались шаги, и стал различим звук снимаемой цепочки.

Дверь отворилась.

– Дарья, принимай гостей. Я к тебе с подарками и с товарищем. Телеграмму получила?

На пороге, без очков и вечного пухового платка, растворив огромные изумленные глаза, стояла библиотекарьша.

После выпускных экзаменов, Андрей впервые за пять лет съездил домой. Дома его ждали. Устроили стол, позвали родственников, братьев с женами и детьми. Сестрёнка Лизавета приехала из Ленинграда на каникулы с подружкой. И соседей набилось в дом тьма. Пришли сами, без приглашения, как принято у деревенских, если случается важное событие вроде свадьбы, поминок или возвращения издалека. Многие хотели посмотреть на Андрея. Про тюрьму разговор, однако, не заходил. Расспрашивали про работу его на севере, громко хвалили за то, что получил новую профессию, вспоминали его и двоюродных братьёв общее детство. Словно и вправду это были поминки, когда о покойном только хорошо. Но нет-нет, да поглядывали соседи исподтишка на Андрея, ища подтверждение слухов, что ходили о Краснове-младшем по деревне.

За годы, проведенные Андреем на севере, о случае том, как он не надеялся, не забыли. Напротив, история обросла постыдными и лживыми подробностями. По дворам обсуждали беспробудное его, Андрея, пьянство после армии, чего, конечно, не было. Сожалели о Людке, которая, дескать, сделала аборт, потому что «подлец» не хотел жениться, что тоже, конечно, было чьей-то жестокой выдумкой. Да и вообще, промеж сельчан стало имя его нарицательным, символом наказанной разгульной беспутности. Теперь даже жизнь его и работа на невообразимо далёком Полярном Урале виделась деревенскими какой-то фартовой колымщиной, карикатурой на кино про гангстеров, с картёжными играми, драками на ножах и гульбищами в ресторанах. Андрей хорошо представлял себе, как эта дура Симагина, мать Людки и дочка бабы Шуры, работавшая у них почтальоншей, приносит письмо родителям, а потом обязательно сворачивает к магазину, где на пыльном, с горбылями старого асфальта, пяточке сортируются новости со всей деревни. И вот она стоит, поставив толстую дерматиновую сумку наземь и, кивая головой в сторону дома Андрея, говорит что-нибудь вроде: «От уголовника давеча перевод был, а теперь письмо пришло. Пишет, грехи замаливает».

Людка, успевшая схоронить мужа-дальнобойщика, их общего одноклассника, вторично вышла замуж и переехала в Струги Красные, за железную дорогу. Замужество, как и прежде бездетное, тем не менее, казалось счастливым. Муж был сильно старше и заметно уверенней любого из местных пацанов. Людка ходила гордая, в заграничных шмотках, в кожаном белом плаще. Мужа привозил шофёр. Он выходил из белого, в цвет плаща жены, мерседеса с круглыми, словно выпученными от удивления на российские дороги фарами, доставал с заднего сидения портфель, клал внутрь документы, которые, видимо, просматривал в дороге, клацал замком и захлопывал дверь. Андрей видел это, сидя за пластмассовым столиком в тени сирени, бурно разросшейся вдоль магазина по краям канавы.

Он не ревновал. Упаси бог! Ему только было любопытно. Казалось, Андрей не мог вспомнить, как любил эту женщину. Не мог представить себе вновь того, что клокотало внутри, что сжимало и покалывало сердце. А ведь было что-то, что-то от пятого класса до выпускного, от проводов в армию, до увольнения на трое суток, когда она приехала к нему в точно такое же, как их собственное, но белорусское село. И был лейтенант Тихонович, который отвез его к ней на «уазике». И была хозяйка дома, деликатно ушедшая по своим делам, и была тонкая ситцевая занавеска в голубой цветочек от печи до гвоздя в стене, и было лоскутное одеяло в ветхом, но пахнущим дымом и мылом пододеяльнике и липкая горячая страсть, сотрясавшая и выгибавшая их неумелые тела. И были сержанты Вишня и Нигруца, которые будили его среди ночи и, демонстративно запустив руки в свои трусы, вопрошали: «Ну, Дрюня, колись, как ты её жарил. Как отбомбился-то, по всем целям? А чо, целка была? Целка?» Наверное, надо было разбить им их красные довольные физиономии, но Андрей только матерился и вновь засыпал, укрывшись с головой.

После службы, Андрей лишь одно лето провел в Пятчино и уехал поступать в Псковский техникум на механизатора. Они вновь писали друг другу письма. И было в тех письмах меньше влюбленной истерики и больше уверенности, что еще вот-вот и станут жить вместе, не расста-

нутся уже никогда и если и не умрут, как принято в мечтаниях, в один день, то уж точно в один год, прожив долгую и радостную жизнь.

«Москвич» – был первой машиной Андрея. Он вообще оказался первой машиной в семье. Отец, хотя и имел права всех категорий, ездил на совхозной технике, личного автотранспорта не приобретая. Этот же небесно-голубого цвета автомобиль, Андрей купил в Пскове через автокомиссионку по объявлению, сразу после практики, когда, сам того не ожидая, заработал за лето огромные деньги. После оформления в ГАИ, Андрей пригнал машину в гараж училища, где вместе с однокурсниками, они перебрали двигатель, сменили кольца, сняли и промыли карбюратор, заменили трамблер и свечи, переварили выхлопную трубу и только после этого, отшлифовали и вновь покрасили кузов. Андрей тщательно вымыл яичным шампунем салон автомобиля, высушил феном и, переодевшись в новые гэдээровские джинсы и рубашку, сел за руль и покатил в деревню, предвкушая близкий триумф среди соседей и знакомых. Мечтал он, что посадит Людку рядом, и поедут они купаться на Хмёр, а, может быть, даже махнут в Лугу, благо, не так далеко.

И вот уже «Москвич» стоит на лесной опушке, а в кассетном магнитофоне Джо Дассен и «Et si tu n'existais pas», которая запускается снова и снова. И только ради того, чтобы нажать кнопку, перемотать пленку и вновь включить песню, они отрывались друг от друга. И пока Андрей наклонялся над магнитофоном, Людка стояла рядом, не обронив ни слова, обхватив себя руками за предплечья, покачиваясь на носках своих кроссовок.

Они танцевали, нет, они осторожно переступали, оборачиваясь вокруг невидимой оси под звуки французского оркестра, и он шептал и шептал ей на ухо: «Если бы не было тебя, скажи, для чего мне жить? Если бы тебя не было, Я хотел бы попробовать изобрести любовь, как художник, который видит пальцами...» И Андрей касался людкиной шеи, и Людка прижималась к нему сильнее.

Нет-нет. Он лукавил. Конечно, Андрей помнил, как любил эту женщину. Так любят только один, самый первый раз, когда еще не знают, что делать с чувствами, когда кажется, что самое большое, что можешь ты совершить для любимой – это дать ей в руки ружье и попросить выстрелить тебе в грудь, чтобы умереть ради нее. Глупость конечно, и книжная романтика, но так бывает с мальчиками, а потом и с юношами.

А под утро, перед рассветом, когда надо было возвращаться, потому что позже возвращаться уже было бы невозможно, они поехали по короткой дороге, выехали у самого поворота на Струги и, конечно же, не могло быть иначе, увязли в чертовой луже.

Андрей усадил Людку за руль, показал, что надо нажимать, как переключать передачи с передней на нейтраль, на заднюю, опять на первую, а сам, подтянув джинсы выше щиколоток, вышел из машины и уперся руками в багажник. Москвич газанул и довольно легко выскочил из жижи, обдав Андрея фонтаном камней и грязи. Людка смеялась. Андрей смеялся.

– Дай я поведу дальше, мне понравилось, – попросила она, но Андрей не разрешил.

Людка надула губы, попыталась обидеться, но у нее не получилось.

– Потом разрешишь, не сейчас, потом? Мне понравилось.

– Разрешу, а сейчас поздно. Ты перегазовками полдеревни разбудишь. И так уже слухи о нас идут.

Андрей лукавил. Они считались женихом и невестой с самой школы. Он с пятого класса дрался из-за Людки, с которой пытались заигрывать все более-менее решительные парни. Андрей дрался со всеми. Не разговаривал, не пытался выяснять отношения, отбрасывал школьный портфель в сторону, скидывал куртку и бросался в атаку, не представляя себе, как может иначе защитить свою любовь. Иногда ему доставалось, иногда сильно, но побеждал всегда Андрей. Всегда. В девятом и десятом классе, когда из не крупного паренька Андрей вырос в высоченного мускулистого парня, надежды районной секции бокса, охотников погулять с Людкой сильно поубавилось. Иногда на танцах пришлые из соседних деревень, чудом

не знакомые с Андреем или городские, приехавшие на лето, приглашали красивую, тоненькую, в серых обтягивающих джинсах и белой блузке с застегнутым под самый подбородок воротником-стойкой, девушку на медленный танец, иногда даже на два танца подряд. Людка не отвечала отказом. Она была принцесса. Ей нравилось, что Андрей дерется из-за нее, раз за разом, доказывая свои чувства и свое право гулять с ней. И вот Андрей, подходил к танцующим, трогал парня за локоть и кивал головой в сторону выхода. А потом повторялось всегда одно и то же. Короткий прямой джеб в голову и нокаут. Один удар. Андрей бил в лоб, чтобы вывести противника из игры, но не разбить нос или глаз.

Она ждала его из армии. Это вообще, очень сложно ждать два года в восемнадцать лет, когда гормоны не знают милосердия и сутками кипятят кровь, усиливая огонь к вечеру. Но Людка ждала. Он знал о том, чувствовал, что ждет. Да и ребята передавали, что да, ни с кем не гуляет, на танцы ходит раз в месяц и танцует только быстрые танцы. И еще она писала письма. Писала по два-три письма в неделю. И в каждом письме она писала только о них двоих и ни о чем другом. Конечно, это была его девушка, только его девушка.

Через неделю была свадьба двоюродного брата Андрея. Он женился на их общей с Людкой однокласснице и подруге. Готовились, как всегда, несколько дней. Везли продукты из Струг и Луги. И праздновали два дня шумно, пьяно, как принято. На свадьбу «Москвич» украсили лентами. Ехал Андрей на нем сразу за черной волгой с молодоженами, бибибал от души. На пассажирском сидении Людка, сзади их одноклассники. Третьим в кортеже отец на совхозном уазике-буханке, а замыкал дальний родственник невесты из Ленинграда, моряк заграничавания, на настоящем длинном сером форде с правым рулём. В «форде» ехали родители жениха и невесты. От ЗАГСА в Стругах отправились к Вечному огню, а потом уже в Пятчино. Ехали медленно, километров сорок в час, растворив окна в аромат мая, гомоня гудками, стрекоча на разные лады музыкой из автомобильных приемников и кассетных магнитофонов, пытаясь составить конкуренцию залиvistым «арабескам» из мощной стереосистемы «форда». Уже в деревне доехали до магазина, где все высыпали из машин и стали открывать дефицитное шампанское и кричать «горько!» Потом огромный стол в доме, стол под навесом во дворе. Шум. Радость. Людка пьяная, но от того еще более прекрасная и желанная лезла целоваться. Андрей стеснялся, но нет-нет, да и слегка обнимал девушку, чувствовал на своей верхней губе щекотку от нежного Людкиного пушка. А Людка запрокидывала голову, так, что её волосы струились волнами, хохотала, а ему хотелось целовать её шею, сквозь кожу которой просвечивали голубые венки.

Второй день – продолжение застолья, потом в клубе, где уже дискотека, танцы и молодежь с окрестных деревень. Накануне Андрей выпил на свадьбе самую малость, а уже после обеда успел съездить в Струги за диск-жокеем, погрузившим на крышу его «москвича» огромные черные колонки, а в багажник смотанные бухты проводов. Под тяжестью музыки автомобиль прижало к земле, и Андрей боялся, что на переезде стукнет поддоном картера об рельсы. Однако, обошлось.

Он пообещал диск-жокею, что отвезет его после танцев обратно. Машина стояла за клубом, припаркованная возле трансформаторной будки, освещенная светом фонаря.

Майский вечер, когда уже почти тепло, когда ночь неуверенно начинается лишь к двенадцати часам, а до того долгое закатное зарево в стеклах всех домов, а потом белесый, почти северный сумерек. Суббота грохочет музыкой из открытой двери клуба. Гости, высыпавшие покурить на воздух. Сигаретный дым, над головами. Дети, затеявшие между взрослыми беготню и игру в догонялки.

Людка увлекла его за клуб. Андрей бросился целовать девушку, но та показала рукой на машину

– Ты обещал!

Он помог ей сесть за руль, аккуратно прихлопнул дверь, обежал машину и сел на пассажирское сиденье. Людка завела двигатель и, лихо выкрутив руль, дала задний ход, разворачиваясь.

– Где научилась? – удивился Андрей.

– Есть учителя, – лукаво улыбнулась девушка, переключилась на первую передачу и, не отпуская ноги со сцепления, поглядела на себя в зеркало заднего вида.

– Ну, поехали, – сказала она и резко нажала на газ.

«Москвич» рванул с места и скоро доехал до магазина. Там Людка притормозила, развернулась и поехала в обратную сторону, набирая скорость.

– Люд, осторожней, там люди. Не гони так, – Андрей видел, как стрелка спидометра дошла до пятидесяти километров в час.

– Не суетись. Всё осторожничаешь, а с машиной, Андрейка, надо, как с девушкой, – Людка чуть притормозила на повороте, и вновь выехала на серый потрескавшийся асфальт, ведущий к клубу, – Смотри, как надо!

...Вину Андрей взял на себя полностью. Сказал, что за рулем был он, что не справился с управлением, отвлекшись на что-то постороннее, не то окрик, не то смех. Про Людку вообще не упомянул. Да и что бы ей? Положа руку на сердце, знал Андрей, что виноват только он один. Что из-за его уступчивости, желания угодить девушке, случилось непоправимое. И готов был к самому строгому наказанию, желал его. Когда же судья, зачитывая приговор, наконец, произнес: «к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима», – то захотелось ему закричать: «Мало! Почему так мало?! Девочки больше нет, а я живу. Мало четыре года!» И тогда же это «Мало!» он прочёл в глазах Аленкиной матери, впервые найдя в себе силы посмотреть на неё не украдкой, а прямо. И это «Мало!» загудело в зале, и это «Мало, тебе, сука, дали, видать пожалели» лязгнуло задвижкой в милицмейском уазике. И потом оно же долго барабанило в дно машины камнями, жажало чугуном и сталью на сцепке вагона, лопалось алюминиевой фольгой полярного дня. И уже потускневшим, ржавым по краям эхом каждое утро отражалось от дальнего угла барака, как только открывал Андрей глаза. «Мало. За это всё мне мало».

5

Доски, которые Андрей с соседом грузили на багажник фиолетовой четверки, удалось купить за пару бутылок водки, приготовленной из разведенного спирта Royal. Четырнадцать сороковок, нарезанных по два метра, а к ним ещё три бруска десять на десять и три бруска пять на пять. Здесь, на старой пилораме в районе Шахтной, на той, что помнила ещё если не Орловского, то всяко уж полковника Халеева, цены были божеские. От Котласа и до Воркуты любят рассказывать, что ящик «Столичной» легко меняется у хантов на стадо оленей, но это скорее этнографическая гипербола. Никто тех выменянных оленей не видел. Дураков на северах сыскать сложно, а брехунов – каждый второй.

Договаривался с лесопилкой не Андрей, а сосед Витька, работавший таксистом-бомбилей и знавший в Инте всех нужных людей. Расплачивался тоже он.

– Покури пока, я добазарюсь, – сказал Витька, заглушив мотор. Достал с заднего сиденья кожаную кепочку и натянул на свои рыжие кудри по самые брови, глядя в зеркало заднего вида.

– От так. Не бзди, сейчас всё будет! – важно приказал он, сухо хлопнул водительской дверью, сунул во внутренние карманы куртки водку и, покачивая плечами, сплёвывая по стономам, направился по кислым опилкам к разверзнутому темному зеву ржавого ангара.

– Запомни, Англичанин, семейная жизнь начинается и заканчивается брачным ложем, – учил Дейнега, сидя на нарах в балке в июле, накануне собственного дня рождения. Они только что закончили бурить очередную скважину в долине Большой Сарьюги и готовились к переброске дальше на восток.

– Поскольку ты мой будущий родственник, я тебя научу. Никаких диванов с поролоном, никаких кроватей с шарами и панцирной сеткой, никакой этой мещанской глупости, пригодной только для того, чтобы собирать пыль. От этого произрастает французское слово *adulterer*. Вот! – он похлопал ладонью по нарам, на которых сидел, – Доски, два слоя матрасов, и твоя половая жизнь не станет предметом обсуждения соседей.

После того, как жених с невестой обошли все немногочисленные интинские магазины, набили синяки об углы старых шкафов в обеих интинских комиссионках, но так и не поняли, на чем спят их соседи, Андрей вспомнил о совете Егора.

Выход из положения показался столь очевидным, что они с Дашкой в изумлении посмотрели друг на друга, словно не понимая, что за морок заставил их потерять целый день в поисках семейного ложа среди полировки и стекла желтушных шкафов с бирками инвентарных номеров. Егор за время работы привык спать на добротно сколоченных нарах. Да и в общежитии ему досталась удачная кровать с подложенными под пружины толстой фанерой. Но тут предстояла плотницкая работа высокого качества, потому он позвонил к соседу и спросил рубанок.

Сосед Витька был на три года старше Андрея. Ему недавно исполнилось (пожалуй, что не исполнилось, а именно «стукнуло») тридцать. Начал он справлять юбилей в сентябре, когда Андрей еще не вернулся с гряды, а закончил к середине октября. Тогда же он и завалился к ним с Дарьей домой знакомиться с будущим соседом, в надежде занять под это дело на опохмелку. Мужик он был неплохой, хотя шепутной и какой-то непутевый. С шестнадцати лет, с перерывом на службу, работал на шахте, ходил даже в передовиках, пока на очередном медосмотре не заподозрили у него начинающийся силикоз лёгких. Профсоюз направил его на месяц в Крым по санаторно-курортной путевке. Не то что силикоз был в этих краях каким-то особо экзотическим заболеванием, но по возвращению, жена уговорила Витьку уволиться. Помыкавшись по временным халтурам, отправился тот в Печору, где по случаю, а скорее по особому везенью, купил за недорого пятилетнего «жигулёнка» с разбитым после аварии кузовом, привез его на платформе в Инту, отремонтировал и теперь бомбил круглые сутки. Как многие, родившиеся тут, мечтал заработать деньги и уехать жить на море.

Строго говоря, родился он не в Инте, а «на пятнадцатом», то есть в посёлке «Южный», что ему еще на шахте ставили в упрек, потому как ходил Витька на работу пешком «нога за ногу» и часто опаздывал, хотя от дверей дома до проходной нормальный человек прошел бы за двенадцать минут. С собственной женой познакомились они там же, в Южном. Работала она на птицефабрике. Тихая, фигуристая, пусть немного косящая, но миловидная женщина почитала Витьку за господина, прощала ему и запои, и дурацкие авантюры, видать любила. Детей у них не случилось, но, похоже, Витьку это не сильно расстраивало. «Успеется еще», – отмахивался Витька, когда мать, в очередной раз качала головой и корила сына, что бабу он себе нашел дурную, что врет та ему, что если не может родить, пусть едет в Москву к докторам, обследуется, а «не сидит на жопе перед телевизором». Мать, приезжала к Витьке раз в неделю на автобусе с инспекцией, когда жена была на работе. Она перемывала и без того чистую посуду, терла крашенные доски коридорного пола вонючим химическим средством и успевала за два часа так взъерошить Витькину душу, что лишь посадив мать опять на автобус, только-только помахав ей рукой, бросался он либо в кочегарку к корешам, либо к собственному багажнику, где для коммерции держал ящик водки, и напивался в слюни.

Соседи Витьку жалели. Жили они с женой по местным понятиям душа в душу. Витька Наталию не поколачивал, сам, напившись по окрестным блядям не бегал, а только выходил на лестницу, усаживался на подоконник, курил, вдавливая окурки в желтую жестянку из-под растворимого латвийского кофе и, какое бы время года не случалось, открывал окно и пел, уставив острый с ямочкой подбородок то в чёрное, то в белое небо. Пел что-то нутряное, в чем слов и нот было не разобрать, но клекотали попереки горла страсть и покаяние.

Маленькие северные города, поселки при рудниках и шахтах, разбрелись бараками по обе стороны полярного круга, по кромке крошева пустой породы и шлака кочегарок. Они как мелочь, брошенная на сдачу в серую алюминиевую тарелку тундры, прикрученную к прилавку материка. Здесь всякая жизнь цепляется за жизнь, радуется прибытку. В прочей русской деревне, пусть в той хоть пять дворов осталось и уже только дачниками летняя жизнь теплится, сколько бы ты не прожил, перевезя свой скарб и труд свой местам этим посвятив, всё останешься чужаком и приживалой, все найдется на тебя цена поверх цены для местных, повод для разговорчика. Так и проходишь в городских. А вдруг вздумается помереть, да единожды нырнешь в землю на местном погосте, то пусть и придут по традиции к тебе в дом соседи, но лишь за тем, чтобы выпить, да поесть по-человечески всего вкусного, привезенного из далекого того желанного и ненавистного города безутешными родными.

Северный поселок не таков. Он каждого, кто тут чуть дольше, нежели на сезон, кто чаще, чем раз в год, сразу карандашиком в книжечку, а книжечку во внутренний карман пиджака, где теплее всего, куда под подкладку еще с конца сороковых попала толика жалости, да там и осталась крошечка табака и сухарей.

Витька, только осознал, что речь идет о брачном ложе, пришел в неистовое деятельное беспокойство, отличающее практикующего алкоголика от прочих. Но Витька не за пошлую трёшницу на опохмел радовался. Вдохновило его, что за филенчатой дверью авось и послышится младенческий крик, затопают сандалеты по деревянным ступенькам с третьего этажа на первый, лопатка застучает по перилам, и прольется Божья благодать во след дитю человеческому на дом, квартал, да и на весь Север, откуда который год бежит жизнь, стремится всяким поездом, самолетом. И если бы не каждодневная привычка, пошлая эта круголесица, да надежда на нечто, чему и не бывать никогда до страшного суда, так и вывело бы дурное время русского человека из этих мест как некое вредное насекомое. И остались бы только гнутые ребра ангаров, проросшие березкой фундаменты барачных да ухающий в память вечной мерзлоты долгим ржавым эхом тонкое в дырах гвоздей железо на ветру.

Когда человек уходит, он не забирает с собой звуки и тени, не грузит их на везеходы, не пакует в чемоданы и выючники. Он бросает всё это где придется, избавляясь сразу и от памяти и от мусора. И ворожливые местные духи десятилетиями разбирают по фантику, по пуговичке те завалы, нашептывая сквознячками в углы бывших жилищ остатки слов, прощальные окончания человеческой речи. И если не повезет кому заночевать в тех местах, поддавшись искушению спрятаться от ветра за стенкой или укрыться от мошкар, то затоскует он чужой тоской, той от которой до конца его некогда счастливой жизни не будет избавления.

Витька появился в проеме лесопилки и поднял над головой две руки, сомкнутые в замок, сигнализируя, что сделка совершена.

– Ну вот, сейчас нам отгрузят прошлогоднюю сороковку, она уже высохшая, – сказал он, улыбаясь во весь свой щербатый рот. От него сладко пахло водкой, – И брус я еще сторговал десять на десять. Мы тебе такой кроссинговер сделаем, как у Горбачева.

Нравилось Витьке это заграничное словечко. Подцепил он его случайно год назад, услышав по радио в какой-то научно-популярной передаче. Что оно обозначало, он не знал, да и не особо интересовался. Чудилось Витькиному уху в слово «кроссинговер» неведомая еврейская хитрость и заграничный шик. Подходило слово решительно для всего, вставало в любую фразу, любому предмету придавало лоск, а процессу основательность. Еще немного и получил бы он такое прозвище, но запомнить это слово удалось только Витьке, остальные, как ни старались, не могли: «Студебеккер какой-то».

Андрей вышел из машины, достал с заднего сиденья ножовку и брезентовые перчатки и пошел за Витькой к навесу, где желтели штабели сортового распила.

– Значит так, – скомандовал мужик в гездеэровской спецовке с очками в модной тонкой оправе на кончике носа, – четыре сороковки по шесть метров, один брус. Всякой дряни можете

набирать в отвале, пригодится штапики в стеклах заменить, ну и вообще. Это, что называется, сколько увезете. Но особо не наглейте.

Мужик показал, откуда брать доски и проследил, что именно взято.

– Молодожен, после того как фуганком пройдешься, рубанком подчисти и обязательно олифой пропитай. Лаком не крась, – и так цвет будет что надо, – Мужик ковырял спичкой в зубах и оценивающе смотрел на Андрея.

– С какой?

– Восемнадцатая, – спокойно назвал Андрей, привыкнув уже, что другие сидельцы безошибочно определяют в нем своего.

– Харп, – мужик сплюнул себе на сапог и выругался, – Говно зона, красная. Хотя трёшка ещё хуже, там теперь и режима нормального не осталось. Ну ладно, совет да любовь, как говорится.

Он махнул рукой, показывая, что больше его присутствие не требуется и ушел к себе в ангар.

Доски распилили одинаковыми отрезками по два метра и погрузили на багажник Виткиной четверки. Витька крепко принайтовал их брезентовыми ремнями. Подёргал для надежности, и удовлетворенно крикнул: «Полный кроссингвер!»

Они забрались в машину, и Витька завел двигатель. Тесный салон жигуленка наполнился парами сивухи, стекла мгновенно запотели. Витька выругался, достал из-под сиденья кусок фланельки и стал протирать лобовое стекло.

– Как же ты за руль, если выпил? – укорил его Андрей.

– Ну и что? На всю Инту четыре гаишника, двое – мои одноклассники. Не ссы, говорю. Мне вообще, если трезвый, машину жалко. Это же не дороги, это бельевая доска. Тут на форде ездить надо, или вообще на танковом тягаче. А как выпью, так нормально. Но, когда бомблю, не выпиваю. Коммерции мешает. Я если пьяный, сильно добрый становлюсь, могу и задаром повезти. Однажды всю ночь проездил, оба экспресса встретил, а только трояк заработал. Ну а как? Одного знакомого подвез, потом второго знакомого, потом еще кореша с бабой. Как с них деньги брать?

Андрей вытащил из кармана три рубля, свернул в трубочку и засунул в решетку рефлектора на торпедке.

Витька шарахнул по тормозам.

– Сейчас выгружу твои дрова нахрен прямо здесь, – Он покраснел, а его голубые глаза заморгали часто-часто, – Сам помочь вызвался, ты меня не нанимал. Трёшницу свою убери.

Андрей пожал плечами, и сунул деньги в карман. Витька посопел-посопел над рулем, подёргал туда-сюда nervно ручку переключения передач, пожевал сигаретку, перекачивая фильтр из угла в угол щербатого рта. Оттаял. Поехал.

– Всё-таки, Англичанин, ты понтыра. Может, врёшь, что из деревни? Город выпирает. Я деревенских повидал, те мягче, даже те, кто совсем борзый. Ты другой. Гордость в тебе.

– Это как?

– Живешь правильно, а не по понятиям, слишком сложно. Мне помирать придется, Наташка к тебе с Дарьей побежит к первым. На Севере соседями не разбрасываются, по пустякам на рубли не меняют. Усёк?

– Усёк, – Андрей без того уже стыдился своего жеста.

Вообще, он себя едва ли считал за знатока людской души. Тонкости всякие Андрея волновали не сильно. Будь с людьми в ладу, правила соблюдай, подлости не совершай. Вот и вся нехитрая философия. Чувствовал Андрей, что всё, что есть неприятного, неловкого, дурного в русском характере, есть и в нем самом. Все, что раздражает в русском человеке, что пугает, что приводит в бешенство, в недоумение, заставляет сожалеть или улыбаться – это тоже внутри него, внутри всех. Пусть переживёт он сотню страстей, и все они улягутся в душе. И места

для них там, на стеллажах, всегда найдутся. Всегда. По настоящему только одно и понимал Андрей в людях —

хороший человек перед ним или скверный. А Витька был хороший.

Да и обиделся Витька зря. «Городская обидка», — решил Андрей. В Пятчино, по-человечески, друг другу помогают, но спешат сразу чем-то отплатить. Наточил на станке топор, на тебе ведро яблок. И ничего, что своих полон сад. Свезил газовый баллон на заправку, вот баклажаны из парника. А если с похмела стакан налил, так и дрова поколоть можно. И нет в том ничего зазорного. Так лучше, нежели в долгах. Но городским не понять. В городе живут иначе, даром. Да и живут иной раз напрасно. Хотя, какой же Инта — город? Это всё Север. Тут свои законы.

6

Через неделю приехали из Сыктывкара родители Дарьи и Егор с женой, которая к тому времени была на пятом месяце. Устроились по-родственному. Однокомнатная их квартира, почти на треть теперь занятая основательным семейным ложем, и от того казавшаяся невозможно маленькой, словно вдруг раздвинула клееные полосатыми обоями стены и вместила всех. Старая тахта с тумбочкой, та самая, на которой раньше спала Дарья, и на которой они вместе, когда, «...ну да, это так получилось, короче говоря, всё, как у всех» и которую Андрей твердо решил выкинуть сразу после свадьбы, теперь стояла вдоль окна. Свободного места почти не оставалось. И на сиротских тех квадратных метрах, на двух надувных матрасах, (один за столом, другой перед столом, потому как не муж и жена еще), уступив лучшие места гостям, устроились жених с невестой.

С родителями Дарьи Андрей уже был знаком. Этим летом, между вахтами, Дейнега уговорил друга съездить в Сыктывкар, где будущему зятю устроили серьезные смотрины. Осталось у Андрея после той поездки смутное ощущение недоверия. Шутка ли, дочь выходит замуж за уголовника. Маленькая девочка, умница, ту, которую лелеяли и целовали. Та, которая болела три раза в год пневмонией, а отец сидел день и ночь у кровати и смоченным в уксус полотенцем протирает тонкую горячую кожу на шее и над ключицами. Та самая девочка, которая до глубокой ночи решала задачи по математике, зубрила «Вересковый мёд» и отрывки из «Горе от ума», а утром ее, сонную, мягкую, вспотевшую, папа нес на руках в ванную (в ванную, в которой теперь перед зеркалом в стакане торчала безопасная бритва Андрея).

Но сейчас, когда Витька привез Дарьиных родителей с аэродрома, они обняли Андрея как самые родные на свете люди, чем смутили. Значит, что свыклись, пришли с собой в лад. И верно, дочь уже взрослая, самостоятельная, неглупая, с высшим образованием. И вроде все спокойно, без истерической влюбленности, как у людей и должно быть.

А на следующий день ждали родителей Андрея. Андрей волновался. Прошлой весной, впервые за пять лет, оказался в Пятчино. Это было сразу после выпуска из училища, перед первой самостоятельной вахтой. Всё у них с Дарьей ещё только начиналось, и Андрей и сам не доверял себе, присматривался к счастью. Может, и рано было рассказывать. Да и вся эта нетрезвая кутерьма вокруг его приезда не располагала к откровениям. А этим летом между вахтами отослал он заказным письмом с почтамта домой фотографии: свою прошлогоднюю возле буровой и их совместную с Дарьей, зимой возле ледяной горки на берегу Большой Инты. Снимки сделал Егор на широкую пленку фотоаппаратом «Киев» и сам же напечатал. Андрей писал о том, как познакомились, как живут. Писал, что решили пожениться, подали заявление. Только что Дарья уже в положении, не писал, может быть, потому что робел. В ответном письме мать рассказывала про бабушку Шуру, которая стала чаще болеть, про то, что старший сын её, одноклассник отца, приезжает из Ленинграда все реже и реже, Симагина же с матерью своей только собачится на всю деревню, ругаются почем зря. Людка развелась и хороводится с новым хахалем, ей не до бабкиного здоровья. Думает только о том, как дом у матери

оттяпать. Писала про отца, перешедшего работать в правление, про кусты смородины, которые она решила пересадить, про то, что обещали запустить автолавку, но директор магазина написал кляузу в администрацию, и теперь автолавки не будет. А это плохо, потому что продукты в автолавке дешевле, а овощи всегда свежие. И лишь в постскрипуме мать написала: «получили письмо с фотокарточками».

Он писал еще трижды непривычно для себя многословные, словно извиняющиеся письма, но ответа не получал. И когда за месяц до события дал телеграмму на праздничном бланке с двумя кольцами и решил, что если не будет ответа, плюнет на вахту. Пусть даже Теребянко всыпет ему выговор, он бросится на юго-запад, через километры, как встарь, испрашивать благословения. Выйдя с почтамта, Андрей, с тяжелым сердцем погрузился в котлаский до Кожыма, чтобы утром на вездеходе заброситься на Гряду.

Три дня ходил он на работу в самом скверном расположении духа, чуть не погнул стрелу, очнувшись от своих мыслей лишь получив в затылок отборный мат Трилобита, и только на четвертый день, вечером, во время сеанса радиосвязи, услышал долгожданное: «Телеграмма Краснову-Краснову. Поздравляем. Выезжаем поездом четырнадцатого-четырнадцатого. Вагон десять-десять. Родители. Как поняли? Как поняли? Прием!»

Отца с матерью встречали втроем: Андрей с Дарьей и Витька. Остальные не помещались, а второе такси решили не брать. В этот раз Андрей даже не пытался предложить Витьке деньги. Он просто постучался в дверь, и когда Витька открыл, спросил: «Сосед, поможешь с родителями?»

Пока Андрей жал руку отцу, пока мать обнимала Дарью и плакала, почувствовав под шубкой упругую крутость чрева будущей невестки, Витька подхватил чемодан, и попер по перрону.

– Друг? – отец кивнул в сторону удалявшегося Витьки.

– Вроде того.

– Пожил уже, а не поумнел, – рассмеялся отец, – не бывает так с дружбой. Либо друг, либо нет.

Витька вел машину аккуратно, против обыкновения не курил, форточку туда-сюда не дергал, музыку на кассетнике не включал, в разговор не вмешивался.

Прекрасно было сидеть на переднем сиденье жигуленка, обернувшись назад и смотреть на трех любимых людей. Даша посередине, между отцом и матерью, те тормозили её, что-то спрашивали, она вертела головой, отвечая то одному, то другому, все смеялись. И Андрей смеялся, болтал, шутил над Дашкой, показавшейся вдруг похожей на взъерошенную морскую свинку и от того ставшей еще более трогательной и любимой.

Утренняя октябрьская Инта, завернутая во влажную простыню дымов, по сторонам дороги то тут, то там выдыхала парок из освещенных подъездов, кашляла дверями на плотных пружинах. Рабочая пятница вовсю рядилась на дневную вахту. Две остановки подряд ехали они за автобусом, который Витька никак не решался обогнать. И в надышанный, оттаянный кругляшок заднего стекла смотрела на них любопытная ребячья мордочка, не то мальчик, не то девочка, не разобрать. И когда Андрей помахал рукой, в кругом окошечке показался маленький розовый язык.

Для своих Андрей заранее забронировал номер в гостинице, в которой сам жил между вахтами. Номер незнакомый, на втором этаже у вестибюля, комфортабельный: с телефоном, телевизором, торшером. В номере, помимо двух кроватей и дивана стояло еще и кресло с прокуренной на века вечные обивкой и журнальный столик с хрустальным блюдом и хрустальным же графином. Солидное жилье для солидных командировочных. Отец взял их с матерью паспорта и пошел регистрироваться. Андрей понес вослед чемоданы. Потом они поднялись в номер, и отец, оглядевшись, щелкнув пальцем по краешку хрустального графина, хмыкнул: «Порядок». Он повернулся к сыну и как-то особенно посмотрел на Андрея.

– Ты чего, пап?

– Непривычно. Взрослый какой-то. Еще прошлой весной заметил, когда приезжал.

– Да я давно такой, – заулыбался Андрей.

От гостиницы доехали быстро. В квартире пахло сдобой. Дашкина мама еще с вечера поставила тесто, нарезала с утра вместе с дочерями яблок, перемешала с тягучим брусничным вареньем, и теперь на кухонном столе, на вновь застеленной клетчатой клеенке, гордо и основательно глядели в прихожую несколько глубоких тарелок с горками пирожков.

Знакомились, словно выдыхали. Если и были у кого до того сомнения и противоречивые чувства, то прилипнув бок к боку на маленькой интинской кухоньке вокруг стола с пирожками, выпив по стопке, привезенного Дашиным папой пятизвездочного дагестанского коньяка, у каждого отлегло от сердца. Всё стало просто. А что тут сложного? Вот родители, а вот их дети.

7

«Простоват ты сын», – говорил отец, когда Андрей ещё учился в школе. Не то, что с укором говорил, скорее с узнаванием собственного характера, с сожалением, что вместе с льняными волосами, не передалось сыну того, что сверкало в жене: крестьянской хитрецы, крепостного лукавства. По роду её, Курины, жившие в каждой деревне Плюссненского района, происходили не то от шустрых потомков Ольгерда, не то от литовских крепостных, вывезенных помещиком Христовским из Курляндии и семенем того же помещика да местной чуди приросшего многочисленным белоголовым и белозубым потомством. Сам же отец был человеком неизворотливым, прямым, как его черные с проседью, топорщившиеся ежиком волосы; иной раз резким до колкости, но отходчивым и незлопамятным. Родился отец ещё до войны, своего отца, скуластого красноармейца, в шлеме с шишаком, как на одной из двух сохранившихся фотокарточек, сгинувшего где-то в тех же местах, в которых сейчас работал Андрей, он не запомнил. Когда пришли немцы, было ему только четыре года. Из-за приподнятых острых скул да карих глаз, называли его «татарчонок».

Приехал офицер в серой форме со взводом автоматчиков, назначили старосту, определили на следующий год сроки посевной, объяснили что куда сдавать, где у кого и какие брать документы, поселили в доме, где теперь почта, четырех своих солдат с унтером, да и уехали.

Немцы не озоровали. Солдаты, вначале настороженные, серьезные крестьяне-баварцы, через месяц пообвыкли, разнежились и иной раз поперек их тевтонского устава могли отправиться с девками в лес за ранними груздями, закинув винтовки за спину, покусывая травинки. А бывало что, скинув кителя, упирались сапогами в жижу невысыхающей на краю деревни лужи, да и выталкивали, крикая и ругаясь по-своему, увязшую подводу с сеном из хитрой глыбкой колдобины.

К тем солдатам, как и к рыжему, лопухому унтеру в деревне все привыкли, за захватчиков не считали, называли «наши немцы». Унтер частенько сидел перед избой в одном исподнем и вырезал из чурочек деревянные ложки с длинными, не по-русски загнутыми черенками, которые дарил ребятишкам.

Отец тоже получил такую ложку и прибежал хвастаться к матери. Та покачала головой, ложку засунула между льняных полотенец в комод, а сыну наказала играть в другом месте. Но как же в другом, когда самое интересное здесь, в центре деревни.

Бывало, что вечерами унтер выносил из избы огромный как самовар аккордеон с желтыми костяными клавишами и рядами перламутровых кнопок и начинал играть что-то такое грустное, в чем звучали голоса иных посторонних этим лесам животных, плеск чужой воды или эхо песен принцесс из сказок с нездешними названиями. Девки устраивались в отдалении, на скамейках у заборов, дети ближе, прямо на землю. Солдаты выносили из дома ладные, ими же сколоченные табуреты и усаживались с серьезными лицами рядом с девками. Музыка была столь сложная, столь непривычная, что никто, супротив здешней привычки, не танцевал.

Пусть и походил звук на звук гармошки, но оказывался сочнее и глубже, с каким-то эхом, какой-то не то тревогой, не то мыслью. Отец много раз за детство рассказывал Андрею про ту музыку.

И всякий раз, когда по радио начинали передавать органнй концерт, маленький Андрей, вставал на табурет, дотягивался до черной ручки и делал громче. После бежал на двор звать отца слушать.

Они оба садились на скамью под окном и замирали. И чужие, неудобные этому месту звуки возвращались скрежещущим эхом от репродуктора, установленного возле коровника. И все пропадало, замирало в гармонии однажды уже подчинившей себе эти места. И лишь тогда взрывалась природа стрекотом мелочи в траве, мычанием коров и рокотом мотоцикла с коляской, когда дикторша сообщала, что-то вроде: «По заявкам радиослушателей мы передавали симфоническое произведение Иоганна Себастьяна Баха „Прелюдия и фуга ля минор“. А теперь прослушайте прогноз погоды от Гидрометцентра для Ленинградской, Псковской и Новгородской областей».

В сентябре сорок третьего в Заплюсье партизаны пожгли хлеб, приготовленный к отправке и уже погруженный на длинные фуры, под запряг откормленных, лоснящихся лошадей маркитантской роты. Но это бы и ничего, но после того как на Киевском шоссе то и дело стали рваться мины, заложенные у краев дорожного полотна не то диверсионными группами Красной армии, не то теми же партизанами, концерты прекратились. Немцы теперь ходили по деревне исключительно по двое и с оружием, смотрели на девчонок растерянно-виновато. Унтер каждые два часа, даже ночью, что-то каркал в рацию по-немецки.

Мать запретила мальчику выходить со двора, строго-настроено наказав не появляться возле немцев. Да и смекали мальчишки, что поменялось что-то, возникло ожидание нехорошего, словно еще не случившаяся, но уже неизбежная беда расплзалась во все стороны по времени и пространству. Однажды поздней сентябрьской ночью, когда свет от луны смешался с паром, поднимавшимся от убранного картофельного поля за домом, а небо уже перебродило гусиной переключкой и замерло до утра, за забором громыхнуло так, что в общей спальне, окна которой выходили на дорогу, задребезжали и треснули стекла. Сочные, хлесткие выстрелы винтовок, сухие автоматные очереди, до того только иногда вдалеке, за синим ельником, раскидались вдруг совсем рядом, от коровников до Хмёра и обратно. По стенам заплясали зайчики зарева, преломившись о стекла двойных, зимних рам. Дыхнуло жаром.

Тушить партизаны запретили. Бабы и старики, по привычке прибежавшие на пожар в исподнем, но с ведрами и баграми, жались в сторонке. А на фоне пожара у низкого штакетника в колышущемся мареве путались в дыму силуэты партизан.

Две машины с автоматчиками появились на рассвете. Немцы цепью прошерстили заросшее сорняком поле и опушку леса (дальше не решились), постреляли по стогам брошенного и скисшего от дождей сена, подпалили дом старосты, но самого и семью его не тронули. Не оставив никого из своих в деревне, спешно уехали.

Только через неделю, да и то после трехдневного дождя, перестала дымиться дегтем чернота. Мальчишки пробрались через забор на пепелище в поисках чего-нибудь интересного, что осталось от немецкого быта. Довольно скоро их погнали матери, но отец Андрея успел подобрать несколько опаленных, в черной копоты костяных клавиш аккордеона. Эти клавиши Андрей нашёл потом в ящике с инструментами и играл с ними, расставляя между кубиками как мосты, по которым ходили оловянные псы-рыцари и русские латники из набора «Ледовое побоище».

В середине октября сорок третьего, когда по полям неожиданно рано разлегся и не успевал за день стаивать снег, всех в Пятчино разбудил рокот моторов. В деревню со стороны Струг въехали пять грузовиков с крытыми фургонами. Они остановились на главной улице. Из первого и последнего фургона выгрузились немцы и быстро распределились по всей деревне, ока-

завшись на каждом перекрестке, возле каждого колодца, на каждой околице. Форма этих немцев была не такая как у тех, что появлялись в деревне раньше. Уже одно это взволновало жителей. По району ходили страшные слухи об айнзатц-командах карателей, чинящих расправу не только над партизанами, но и над обычными крестьянами. Слухам невозможно было поверить, но они пугали.

Отец рассказывал, что помнил очень хорошо, как мать выглянула в окно, охнула, запричитала, забежала в сени и обратно, не в силах решить, что надо делать, и вдруг схватила сушившиеся с вечера на печке штаны и пальто и стала торопливо помогать сыну одеться. А потом широко распахнулась дверь, так что задребезжала нижняя петля, державшаяся не на четырех, а на двух шурупах, и в дом вошли огромные, почти упиравшиеся головами в потолок немцы. С немцами был офицер, говоривший по-русски. Сзади, в дверном проеме, был виден староста, осунувшийся, с мешками под глубоко посаженными глазами, заросший седой щетиной. Офицер говорил без акцента, словно это был вовсе и не немец, а милиционер из Струг. Тон его был повелительный, уверенный. Офицер приказал незамедлительно подготовить к эвакуации имеющихся в доме детей и дать им с собой запас пищи на три дня в мягкой поклаже.

– Сколько здесь детей? – немец обернулся к старосте.

– Один мальчик четырех лет.

– Ваш муж служит в РККА? – офицер посмотрел на мать.

– Нет, – отец помнил, как она, до того словно согбенная, нервно вытиравшая руки о фартук, распрямилась и забрала за ухо выбившуюся прядь русских волос, – Арестован.

– Воровал? – заулыбался офицер.

– Его оговорили, Обвинили во вредительстве.

– Уповайте на вермахт. Чем скорее они закончат войну, тем раньше вернется ваш муж. Ответственность за вашего ребенка принимает на себя эсде. С настоящего момента он находится под защитой и ответственностью германских оккупационных властей. Вам незачем беспокоиться.

– Он никуда не поедет. Ему лучше со мной.

Мать попыталась загородить сына, но один из огромных солдат грубо оттолкнул ее и подхватил мальчика.

Мать закричала, но второй солдат чем-то ударил женщину. Отец Андрея не видел чем, но на всю жизнь запомнил её, лежащую бездыханно на полу перед печью с кровью на лице и в спутанных волосах.

Детей со всей деревни погрузили в два фургона, в которых уже сидели притихшие ребята из соседнего Симонова.

Матери, которым запретили даже подходить к окнам, не вытерпели и, только взревели моторы, и двинулась колонна, повибежали из домов, со дворов и бросились за грузовиками.

Отец вспоминал, как сидел у края кузова, перед самым бортом, рядом с солдатом, хотел и не мог высвободить ногу, на которую неудачно привалился какой-то мальчик не из их деревни, а коленка другой ноги на каждой кочке больно стучалась об автомат этого солдата. И он терпел, и лишь однажды заскулил, когда стало особенно больно. И солдат, до того разглядывавший что-то на опушке леса, обернулся, посмотрел на него, улыбнулся, протянул руки, высвободил мальчика, подхватил подмышки и усадил удобнее. Он что-то сказал по-немецки, что-то незлое. Но отцу показалось, что это тот самый солдат, который ударил мать и он прошипел «Штоб ты сдох, Фриц».

– Фриц-Фриц! Да! Я Фриц, Фьодор. Мой отец – Фьодор. И я Фьодор Фьодорович, – засмеялся немец.

А отец заплакал, потому что это было невыносимо страшно, потому что был уверен, что мама умерла, что вот-вот и он умрет, все умрут, даже товарищ Сталин. Хотя это совсем невозможно. Так рассказывали. Так брехали.

Рассказывали, что на окраины Струг приводили много детей вместе с родителями и там в них стреляли из пушки. Во всех сразу. И он знал, что если выстрелят в него из пушки, то ничего никогда не останется. И если только он будет в последний миг молить несуществующего Бога, то тот возьмет его к себе, в небесный Кремль. И на небе будет он, будет папа, мама, тётя Оля, их пёс Стёпа, умерший прошлой весной от непонятной болезни и кто-то еще, кого он не помнит, но любит просто так.

Отец потом смеялся над этими своими мыслями, но Андрею их пересказывал. Конечно, с комментариями, с поздними, уже взрослыми. И Андрей слушал, поддакивал, тоже смеялся, но было ему не смешно.

И Андрей, словно сам видел этот грузовик, это блёклое утро в Пятчино, в деревне, в которой родился, в том самом доме в самой середине деревни. Он почти слышал, как рыкает соляркой в снег и ржу тупорылый Хеншель, как лопается воздух, стонет затянутое гайками железо. Ему казалось, что он видит руки женщин, протянутые к кузову, в котором он, нет, не он, а мальчишки, совсем другие мальчишки, покорно качают головами и плечами в такт перегазовкам мощного германского мотора на каждой малой рытвине. И всякий раз он чуть ли не терял сознание, проваливаясь куда-то в знобливую морось октября сорок третьего года, по ту сторону крашеного суриком штaketника, на перекресток дороги на Струги и дороги в никуда, в смерть и обморок осеннего шоссе с брыкавшейся шершавым копытом контуженой лошадьё.

И пока грузовики медленно ехали через деревню, матери бежали рядом, по обочинам, поскользываясь на мыльных следах протектора, оступаясь и проваливаясь в бурю жижу, но не спускали глаз с качающихся детских макушек и протягивали к ним руки. Они кричали, звали детей по именам, рыдали, сбиваясь со стога на вой и хрип. Но уже возле последних дворов, движение колонны ускорилось, и матери отстали, хотя и продолжали бежать.

Машина, в которой везли отца, шла предпоследней. Они уже миновали поворот на Пламя, как вдруг вначале притормозили, а потом и вовсе остановились. Газующий впереди грузовик увяз. Слышно было, как истошно рычит мощный мотор, как с визгливым остервенением прокручиваются огромные баллоны, облепленные глиной.

Вечная лужа. Проклятье деревни. Огромная дыра к центру земли, заполненная словно бы вулканической грязью, то стреляющая по верхней воде плавунцами, то парящая под июльским солнцем глинистой кашей, то в рваных осколках ноябрьского льда швыряющая по обочинам студёную путаницу супеси и мелких камешков. Проложенная по древней гати дорога столетиями спотыкалась не то о плавун, не то о какую иную подземную силищу, которую, сколь ни заваливать ее ветками, сколь ни перекладывать бревнами, ни вбивать в ее ненасытную прорву булыжник и кирпичное крошево, а всякий раз вновь ловит она беспечных ездовых. Несчетно телег увязло по самые оси в её распутном лоне, начиная с подвод Ольгерда, груженных мехом лисиц и соболя, золочеными окладами, сорванных с образов церковью окрестных погостов. И то лопарские заклятья, то литвинская брань, то ругань здешних скобарей срывались в небо вороньим граем с опушки ближайшего леса.

Второй секретарь райкома, ехавший в Пятчино по служебной надобности – наставлять и контролировать в осеннюю распутицу тридцать восьмого, бросил водителя возле эмки цвета беж, закопавшейся в жирную глину, и, закатав выше колена серое костюмное сукно, да все едино изгваздавший и брюки, и полы плаща, пешком дошел до сельсовета. И потом два часа орал матом вначале на председателя, а потом и на подъехавшего не ко времени секретаря местной партийной ячейки так, что деревенским нужды не было подходить ближе, слышался мат от клуба, где были обещаны по случаю субботы танцы, и аж до магазина.

После того случая, председатель выписал на базе в Стругах Красных тридцать мешков цемента, пригнал с карьера две полуторки груженные песком, и всем миром законопатили ту сырость гладкой бетонной пломбой. Пломбу обнесли вешками, между вешек протянули веревки, на которые навязали красные бантики из какого-то пришедшего в ненужность

лозунга. Пять дней и пять ночей возле дорожного строительства выставлялась охрана из деревенских, отправляющая всех в объезд, чтобы никто по незнанию или ухарству не сунулся с тяжелой техникой и не поколол свежий бетон.

По истечению тех пяти дней, председатель вместе с мужиками, сняв опалубку, придирчиво осмотрели толстую, основательную плиту и посчитали дело сделанным. Грузовики и подводы на резиновом ходу вначале опасливо, а потом уже лихо проскакивали бывшее «гиблое место» всю остатную осень и зиму, выдавшуюся, как рассказывали, особенно снежной. И лишь в конце марта тридцать девятого зашевелилась земля, и бетонная плита начала медленно сползать с дороги. Мелкие трещинки, а потом и целые борозды стали заметны, и почти сразу после того, не прошло и недели, как земля под плитой задышала, а серый прямоугольник бетонного материка раскололся на сотни небольших островков, каждый из которых зажил своей жизнью под колесами техники.

Летом плита перестала быть плитой, превратилась в бетонное крошево, то тут, то там, выставившее в небо острые осыпающиеся края. Средств на ремонт у нового председателя не нашлось. Старый же, тот, что по слабости душевной затеял все это строительство, попал в неожиданный оборот скорого следствия по делу о халатности и вредительстве. Все это вовсе не имело отношения к яме на дороге, да и вообще к чему-либо настоящему, а лишь умышлялось каким-то злым и обиженным на весь мир человеком, написавшим бумагу в милицию.

За осень и зиму страстная земная сила изломала давшую слабину человеческую заплату, выбила глиняными коленями корявые бетонные мячи на обочины, а по весне вновь пустила по наметившейся колее торопливый ручеек. И вскоре жители, стоявшие в очереди у магазина, в ожидании свежего хлеба, увидели спешащего к ним водителя полуторки, машущего руками, кричащего и просящего помочь вытолкнуть увязший фургон.

К этой луже привыкли. Ей веками носили дань ведрами, опрокидывали в грязь, возвращали земле всякий мусор, всякую твердую ненужность, посвящали ей фантики жития. Посудный лом, кирпичные осколки, мягое и отставленное от хозяйства железо, все прошлое родов тут от покона веков проросших, землей этой выкормленных. Отец, сын, их отцы и долгая, неназываемая за беспамятством лет, крестьянская родословная по воскресной дороге к заутрене зазываемая Ризоположенской церковью Хмерского погоста, плескали в глину и воду этой не то лужи, не то ямы, не то и вовсе Господних врат в вечность несложный быт своих семей.

А гробы с упокоившимися завсегда переносили по обочине на руках. И, лишь миновав грязь, вновь устанавливали на телегу, чтобы идти сперва до перекрестка дороги на Плюссу, а дальше налево в горку до самого Хмёра, плача и прощаясь.

Словно какой тугой меридиан, тянул за собой строчку шитья с далекого юга, с чужого жаркого материка на такой же далекий север, к Берингову проливу, к Аляске и делал тут стежок в льняном покое пскопской земли от одной до другой обочины дороги. И в том стежке решались вдруг прыснуть в разные стороны от брошенного мальчишкой камня разноцветные циклиды озера Танганьика или могла заворочаться, перевернуться с тени на солнце бурая крокодилья кожа огромного земноводного реки Лимпопо, с того самого места, где её пересекает тропик Козерога. А иногда промеж запаха полыни и репейника, цикория и другого какого местного разнотравья, кидался в разогретый и звенящий кузнечиками воздух запах турецкого кофе с Самандира, долгой окраины Стамбула. Но то была величайшая редкость. Обычно впитывали его как губки мхи лесов вокруг Мозыря и Бобруйска, и тамошние зайцы кейфовали, валяясь на них и подставляя солнцу полинялые бока.

В ту осень, когда чужое железо харкало дымной газолиновой дрянью в октябрьское утро, когда хрустящая заиндевелая трава, торчащая из раннего снега ломалась под подошвами бот отчаявшихся когда-либо увидеть своих детей женщин, когда мутное солнце, встав из-за далекого леса, постеснялось подняться выше, чтобы не дай бог, не разглядеть и не быть спрошенным за ту несправедливость, что родила темень и ночь, вот тогда Пятчинская яма, великая

сия Лужа вскипела ненавистью, самой африканской жарой и растопила грязь и лёд, сволокла в колею и зажала земным своим мускулом наглое тевтонское железо.

Отец слышал ругань на немецком, потом команды. Солдаты, сидевшие в их машине и в той машине, что шла за ними, прыгнули вниз и побежали вперед, где раздавалось уже «Einmal, einmal zusammen! Einmal! Again!», стон мотора, визг скользкой резины, рыканье и звон клапанов бессильной четырехтактной злобы.

И тут подросли женщины. Вначале они остановились чуть в отдалении, но лишь на краткий миг, такой, чтобы те, кто отстал, успели до тех, кто прибежал первыми, толкнули их, и вот уже все вместе бросились к фургонам, протянули руки вверх и стали хватать тех детей, что были ближе. Они спускали ребят на землю, следующих, следующих, тех, кто не побоялся.

Отец рассказывал, как тётя Шура, их соседка, подхватила его, сняла с борта в жижу и ледяную пульпу, крепко схватила за руку, в другой руке у нее уже была ладошка Лёшки, старшего сына и рванула к лесу. И вот они уже бегут вместе с остальными. И светло от серого неба, и темно впереди, а сзади пока только перегазовки и карканье немецкого языка – ни выстрела, ни окрика.

Их не могли не видеть, но их не видели. Вязкий, нездешний, приторно-африканский морок покрыл поле, дорогу, немчуру, хлопчущую возле увязшего во времени «Хеншеля». Женщины и дети растянулись цепью по всему полю. Матери устали, они стремились к опушке из последних сил, держа малых своих, кого на руках, кого за руки. И шествие то казалось траурным и вечным. Лёгкие мишени для опытного стрелка. Но лишь когда последние, оставшиеся оказались в тени крайних деревьев, хлопотливые автоматные очереди посшибали снежные комья и шишки с сосен.

Погони не было. Приказ есть приказ: в лес не соваться. И потому немцам только и осталось, что

«...Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lore-Ley gethan».

Но кикиморы и ундины, ледяные девы лесов и болот не тронули брызги человеческого рода.

8

Университетские приятели Егора Андрею сперва не понравились. Не то, что случились они какими-то особо скверными. По своей воле сюда дурные люди не приезжают. Виделись парни Андрею для этих мест чересчур уверенными, щедрыми на обещания, слишком шумными. Север в таких не верит. Но когда в Кожыме грузились в борт, когда эти городские первым делом схватили обсадные и потащили к вертолету, а потом, обливались потом и в тщетной попытке согнать гнус, крутили шеями в разрезах энцефалиток, вдруг, как тут говорят, показали. «А ленинградцы – молодцы, – подумал Андрей, – только оттягав ящики с коронками, взялись за свое. Понимают, что и как, значит, нормальные мужики».

Андрей указывал, какие трубы брать, какие оставлять. Его кадры, помбур и бич-сезонник, накануне перебравшие портвейна, дышали кислым, обливались потом, но пыхтели наравне с остальными. Все вчера выпили лишка. Ленинградцам простительно, те неделю проторчали в балках в ожидании борта, а своим Андрей такие вольности не позволял. В шесть тридцать утра, растолкал обоих и погнал купаться.

– Фашист!

– Тебя бы, Англичанин, самого вначале напоить, а потом в мокрую и холодную воду! Гадина ты пскопская, скобарь! – ворчал Трилобит. Он уже третью смену работал с Андреем.

Алимов взял к себе помбурами двух пионеров, бывших Андреевских соседей. К осени Теребянко планировал дать каждому по буровой, если Алимов аттестует.

Ледяная вода Кожым-реки привела мужиков в чувство, но к десяти часам, когда подали под загрузку первый борт, оба уже плыли. Не то уксус в кровь пошел, не то где нашли похмелиться. Второе Андрею казалось более вероятным.

Ленинградцы среди прочего скарба грузили тридцатилитровую алюминиевую флягу с дыркой в крышке, такие здесь используют, чтобы гнать самогон из конфетной браги. Наверное, в другой раз, он бы и волновался, напридумывав беду, но не сейчас. Начальником партии у геофизиков ехал Фёдор. А Фёдора в ВоГЭ уважали так же, как Теребянко. Был он хоть из Ленинграда, но родился в Сыктывкаре, с детства в этих местах. Вначале горный техник, потом Ленинградский университет. Кандидат наук, назначен заведующим сектором. Десять лет уже гоняет партии от Райица до низовьев Усы на алмазы. Дейнега говорит, что и диссертация у Фёдора про алмазы Полярного Урала. Никто, конечно, тех алмазов на Гряде не видел, но признаки есть, министерство деньги выделяет, значит, работы ведутся. Шурфовики показывали Андрею в промывках оливин. Да и все сопутствующие находят. А если ищут, значит, рано или поздно найдут, это Андрей себе давно уяснил.

Фёдор со своими крут. В поле у него дисциплина, пьянство только по личному разрешению и в период магнитных бурь, похмеляться, если не праздник, запрещено. Андрея судьба уже дважды сводила с Фёдором на одних точках, когда первый год работал он помбуром у Алимова. Они в тот сезон друг другу понравились. Фёдор был старше лет на пятнадцать, но возрастом и должностью не кичился, к буровикам относился со всем положенным в этих местах уважением. А полагалось буровиков считать за местных. Все остальные – пришлые, буровики, с их тяжелым железом, горящим солидолом и грохотом считались за коренных. Да и по геологическим правилам, называлось это все «заверочное бурение», то есть метод самый дорогой и окончательный. Если нет ничего в керне, значит, так тому и быть, пусто. Если нашли что, трать, государь, миллионы, прокладывай дорогу, копай. Сто раз цифры нарисуй, двести шлихов намой, пятьдесят шурфов заложь, а без бурения ничего серьезного тут не начнется. «Танковая конница маршала Теребянко» – так Фёдор их называет. Глупость, конечно, но приятно.

Борт загрузили под самые переборки. Геофизики накидали поверх всего досок, последней закатали бочку с керосином и два газовых баллона. Бортинженер, стоявший поодаль, не смотря на жару, в кожаной лётной куртке, и наблюдавший за погрузкой, покрутил над головой рукой, показывая, что пора «закругляться». Двое ленинградцев, Борода и Иван, приятели Дейнеги, тащили с дальнего края вертолетной площадки каркас панцирной кровати, заметив, что летчик закрывает люк, припустили бегом, но каркас не бросили.

– Аспиранты, бросьте к чертовой матери этот металлолом, зачем он вам? – перекрикивая шум винтов увещевал ребят Фёдор.

Но парни минуту препирались с бортинженером, наконец, тот махнул рукой и показал на пассажирский люк. Каркас загрузили через него к неудовольствию всех остальных.

Пилот запустил винты. Андрей и Фёдор, оба пригибаясь и придерживая на голове брезентовые фуражки, обежали вертолетку, проверяя, не забыли что важное и последними забрались на борт.

Андрей любил момент взлета. Ему нравилось, как огромная машина, похожая на раскормленную тетёрку поднимается вверх, чуть наклоняется вперед и вот уже мчится, чуть не задевая верхушки подлеска, разворачивается над руслом Кожыма и устремляется вперед, прочь от Уральского хребта. И внизу то тёмные пятна озёр, то рыжие проплешины болот, то зеленые поля карликовой березки, то темно-изумрудная тайга. И внутри трясет, и грохочет так, что не слышно, что говорит Фёдор, показывая пальцем в иллюминатор.

Их высадили первыми, на Заостренной, рядом с буровой, которую он, пустив вперед вездеход, пригнали сюда по лесоустроительной просеке в конце прошлой вахты. Андрей со сво-

ими выгрузили личные вещи и продукты, полученные на складе, пожали руку геофизикам, с которыми предстояла вновь встретиться через месяц на Шарью и, отбежав к балкам, присели на корточки, ожидая, когда поднимется борт.

Припустил дождь. Тяжелые капли, превращались в пыль под лопастями винта. Огромная, дышащая керосином машина чуть поднялась на березкой, и вот уже пилот лихо погнал её вдоль просеки лесоустроителей вниз к реке. Дождь быстро залил шум вертолета, и лишь единожды отрыгнуло эхо хрусткий рокот двигателя, отразив от дальних отрогов реки.

В балке оказалось натоплено. В изголовии нар стоял синий «Ермак» Дейнеги. Значит приятель пришел пешком от Алимова. По технике безопасности такие переходы запрещены, но Теребянко иногда закрывал глаза на разные нарушения инструкции. Дейнега, хотя и был молодым специалистом, уже считался хорошим геологом. Человек он осторожный, вдумчивый, потому его любовь к одиночным маршрутам с отбором проб по собственному плану можно и поддержать. Если между точками удавалось проложить маршрут почти по прямой, если не встречались пойменные болота или не нужно было форсировать Усу или Печору, Дейнега всегда шёл пешком. Свои вещи он посылал с бортом или вездеходом, а сам отправлялся налегке, с аккуратной самодельной палаткой из каландра, вот этим синим капроновым «ермаком» на дюралево́м станке, под которым крепился аккуратно свернутый пуховый спальник. Иногда он выходил на новую точку дня три, успевая описать до двух десятков обнажений, перейти несколько водоразделов, заночевать и проснуться под солнцем наступающего полярного дня. Перед сном он ловил хариуса на блесну-вертушку в ямах, взрезал ему брюхо, засыпал крупной солью из пластиковой банки из-под иностранных витаминов с плотно закрывающейся крышкой, и ел уже через пять минут после засола. Дальше он разводил аккуратный костерок под чефирь-баком и потом мог часами сидеть недвижно, лишь прихлебывая от чернозема крепкого грузинского чая, заваренного с листьями дикой смородины и ежевики. Ему нравилось наблюдать за тем, как туман, поднявшийся от зарослей ивняка по берегам ручья, покрывает поле карликовой березки на другом берегу, чтобы окрепнуть и плотной паутиной взползти под тень елового мыска, от которого до самой Усы начиналась тайга.

Пока Трилобит с бичом-сезонником разогревали сваренный Дейнегой суп, пока, хорюнясь от Андрея, аккуратно опрокидывали из чашек выпрошенный у геофизиков разведенный спирт, распогодилось. Андрей курил на нижней ступеньке балка, как он это любил, положив локти на ступеньку повыше, вытянув одну ногу в туристком башмаке пяткой вперед, а другую подобрав под себя. Так у него переставала болеть сорванная на зоне спина. Из карманного «Альпиниста» звучала джазовая музыка, передаваемая на коротких волнах не то шведской, не то норвежской радиостанцией. Поперек комариному гуду, не стихающему даже во время дождя, вкручивались в сочный летний таежный воздух трубы лихого оркестра, снимая с этих мест древнее заклятье белоглазой чуди, подтрунивая над здешней тайгой со своего уютного заграничного далека.

Внизу на просеки показался Егор. Его полинялая красная шерстяная шапочка, которую он еще со студенческих времен, носил и в жару и в холод, мелькала между кустов ивняка. Приметив Андрея, Егор, поднял над головой раздувшийся от рыбы рудный мешок из грубой брезентовой ткани.

– А я не успел, – закричал он ещё издалека, – Пошёл за рыбой. Думал, вы к вечеру прилетите. Солнце с самого утра, горы открыты.

Андрей встал и показал ладонью, сжатой в кулак «рот-фронт», как было принято между друзьями.

– Услышал борт, бросил снасть, но пока на этот берег перешел, смотрю, летит уже, разгрузился. Я ему рукой помахал, он круг сделал, показал, что меня заметил.

Дейнега, запыхавшийся, улыбающийся, похудевший, обросший крученым черным волосом по всему подбородку, дошагал до балков и кинулся обниматься с Андреем.

– Моих-то видел? Как тебе? Орлы же! Ну, скажи? Орлы?

– Орлы, – заулыбался Андрей, – нормальные мужики.

– Да они золотые! Ты даже представить себе не можешь, какие они золотые. Они на курсе лучшие были. Что Борода, что Иван, что Кеша. Это же академики будущие. Наука, брат! Наша наука! – Егор улыбался, хлопал комаров на шее, снова улыбался и казался Андрею старше своих лет. Они не виделись два месяца, на прошлую точку к ним приезжал другой полевой геолог. За эти два месяца Егор как-то высох, кожа плотно приклеилась к покрытым курчавым волосом скулам, глаза посверкивали азартом.

– Родственник! Как же, чертяка, рад тебя видеть! Ну, как ты там? Как Варвара? Как Дашка?

Варвара родилась в апреле. До этого был самый тёмный и морозный январь девяносто первого года, когда по всей Инте то и дело отключалось электричество. Дарья мерзла, газа в дома подавали ровно столько, чтобы хватало нагреть кастрюлю воды, да и то, если накрыть крышкой. Андрей с Витькой съездили в автопарк, где им за стандартную бутылку сварили печку, такую же, какую устанавливали в балках, из толстого чугуна. Они, пыхтя и чертыхаясь, втащили печку на этаж, а потом, под причитание Наталки, Витькиной жены, вынули форточку и установили на её место раму с жестяной, через которую вывели наружу трубу. Затопили. В комнате почти сразу стало тепло. Впервые за неделю Дарья сняла с себя шубу.

В апреле Дашу позвали на тридцатилетие девятки, школы, которую она заканчивала. Приезжали многие одноклассники, которых судьба раскидала по всему Союзу. Но в субботу, за день до праздника, на тридцать шестой неделе, неожиданно начались схватки, и Андрей, не дожидаясь скорой, разбудив среди ночи соседа, отвез жену в родильное отделение.

– Это ты пешком переходила, растрясла, – говорил Андрей, поглаживая на заднем сидении Витькиного жигуленка руку жены.

По улице Горького, где была Дарьяна школа, перестали ходить автобусы, да и вообще всякий транспорт. Городские власти, наверное, насмотревшись на Арбат в Москве, ни с того, ни с сего, решили сделать центральную улицу пешеходной.

– Андрюшенька, не ругайся. Все нормально, – Даша была бледна и испугана.

Варька родилась почти через сутки, вечером. Дежурный врач и акушерка приняли роды, укутали ребенка в одеяло и принесли в палату.

– Мамоchка, ребенок с вами будет. Давайте грудь. Меняйте подгузник, – сказала медсестра и ушла домой. Варя осталась в палате одна с ребенком. Других рожениц на отделении не было. В тот год здесь почти не рожали. Свет отключили в половине десятого. Горячая вода пропала ещё раньше. В котельной случилась авария. Дарья потом рассказывала Андрею, как в отчаянье и полной темноте мыла Варьке попку под струйкой холодной воды. Но всё обошлось.

Андрей в это время сидел в гараже у Витьки и пил водку, настоянную на золотом корне.

– Ты можешь быть трезвенником, можешь быть хоть председателем общества «Трезвость», но если у тебя родился ребенок, будь добр кирнуть. Иначе это все не по-людски, – сказал Витька, снял с вешалки кожаную кепку Андрея, полушубок и подтолкнул приятеля к выходу, – Пошли ко мне в гараж. Там самое место.

В гараже у Витьки действительно было уютно. Топилась печь, на печи в сковороде шкварчала картошка на сале, от автомобильного аккумулятора играл магнитофон «Электроника».

«Et si tu n'existais pas», – пел Джо Дассен, – «Dis-moi pourquoi j'existerais? Pour trainer dans un monde sans toi, Sans espoir et sans regrets?» – в который раз спрашивал шансонье.

Витька достал из стенного шкафчика две хрустальные рюмки и поставил на стол. Потом из того же шкафа выудил стальной геологический термос, а из него палку твердокопченной колбасы.

– Это от крыс, так не доберутся, – предвосхитил он вопрос Андрея, – Кстати, колбасу твой Дейнега, из Сыктывкара привез.

Витька, открыл багажник, покопался в нем и выудил банку консервированной морской капусты и буханку серого интинского хлеба.

– Вот, сейчас нормально посидим, по-человечески. Человек родился, надо его встретить, как человека. А то заперся там у себя в доме, сидишь как сыч. А надо не сидеть, надо радоваться, надо праздновать, надо пить за ручки, за ножки надо пить, за глазки, за носик. Ножки-ножки. Побегут эти ножки по нашим дорожкам. По Инте побегут. По северу побегут. Давай. Давай!

К обычному Витькину балабольству добавилась неожиданная сентиментальность. Витька разлил по полной рюмке. Они выпили.

– Я, Англичанин, тебе так скажу. Вот сейчас ты стал своим. Детка родилась, теперь наш. Теперь детка будет в наш садик ходить, в который, вон, Наталка и Дарья твоя ходили. Потом детка пойдёт в школу, которую Наталка и Дарья заканчивали. И это значит, что ты, её отец, наш мужик, интинский.

Логика соседа не показалась Андрею безупречной, но они снова выпили. Витька поставил сковородку между ними и положил перед Андреем вычурную серебряную вилку и такой же нож.

– Откуда такое богатство? – удивился Андрей, разглядывая вилку.

– От папаты Наталкиного, – рассмеялся сосед, – в управлении работал. Подношение чье-то. Всё, что и осталось, ну и рюмки, конечно. А может быть, всё, что и было. У маматы там еще картинки какие-то в рамках, но дрянь, а не картинки, навроде трёх медведей Шишкина. А это вот, – он покрутил в пальцах ножик, – да ещё и сервиз – это нам на свадьбу мамаша отдала. Наталка их не любит, говорит, тяжелые. А мне нравится. Вот, держу в гараже для особых случаев, если какой гость зайдет. Ты – сегодня особый случай.

– А дочка – это хорошо, – вдруг рассмеялся Витька, – Дочки, как говорится, это для папы. Для папы что надо, чтобы его седины коснулась девичья рука. Сын что?

– Что? – переспросил Андрей.

– Сын – это не кроссинговер. Вон, как я, да ты. Сын вырастит и убежит за своими бабами на край света. А дочка всегда рядом будет, так что ты тут молодец.

И вдруг, ведь два года как не мучило, как перестало, вспомнились ему глаза Алёнкиной матери на суде.

Вот сидит Слепнёва, покачивается из стороны в сторону и что-то шепчет. Он не мог слышать, что она шепчет, не мог, но слышал. Через людское дыхание, через скрип стульев и голос судьи, зачитывающей обвинительное заключение, слышал он, как та повторяет: «Алёнка. Алёнка. Алёнка».

– Как ты жить теперь с этим будешь, убийца? – это не она. Это кто-то другой крикнул.

– Мало! Мало три года! Мало ему!

И снова тот знобливый ветерок, который из щели кунга забрался под воротник и засвербил в носу слезой и солью: «Мало!»

– Назвали-то как?

– А? – очнулся от своих мыслей Андрей, – Алёнка.

– Как? – переспросил Витька.

– Варвара. Варя.

– Хорошее имя, – одобрительно кивнул Витька, – Давай теперь за глазки Вари, чтобы видели только хорошее.

Выпили за глаза, за носик, за пальчики. Витька достал второй литр. Андрей хмелел медленно, но тяжелым, нерадостным хмелем, приличным для поминок, а не для праздника.

– Ты что-то косеешь, Сосед. А ну ка я тебе сейчас нашего чайка налью, – Витька покопался на полках, нашел жестянку с травяным сбором, насыпал в чайник, жажнул кипятка из чайника, уже час сипевшего на печи.

Горькая, дурманящая жидкость растянула скулы Андрея в гримасе.

– Что это за гадость? – сморщился он.

– Всё от природы, тысячелистник, чабрец, полынь, ну и так, всякой ерунды. Мать делает, называет «наш чаёк». Она этим почки лечит. А я заметил, что трезвею от этого её «чайка» в момент. То ли от горечи, то ли от каких полезных витаминов, но трезвею. Правда, если много такого выпить, сердце потом стучит.

Хмель действительно отпустил Андрея. Он пошкрябал вилкой в сковороде, ещё хлебнул отвара и засобирался домой. Они попрощались. Витька остался прибираться и выгребать из печки угли, а Андрей вышел на воздух. Электричество в районе дали. Горели окна, и в ночном небе ярко светила, очерченная прожекторами водонапорная башня. Вместо того, чтобы идти домой, он пошел к больнице. Где находится родильное отделение, Андрей не представлял. Дверь приемного покоя оказалась закрыта. Андрей пошёл по ледяной скользкой дорожке вдоль корпуса, заглядывая в окна первого этажа. В одной из палат он увидел девочку, сидящую на кровати, обхватив колени. На девочке был застиранный байковый халатик, который был девочке явно мал. Девочка сидела и смотрела в одну точку. Над ней горела лампа дневного света.

Андрей остановился и почему-то помахал девочке рукой. Девочка заметила, улыбнулась и тоже помахала Андрею.

9

Июль выдался спокойный. Выставили устье скважины и забурились еще на прошлой вахте, пройдя первые двадцать метров. Стояла жара, потому запускали установку в шесть утра, еще до сеанса связи. Станок работал без обычных сбоев. Осадочный чехол проходили быстро. Егор в это время готовил завтрак на всех. После завтрака у тайги было полчаса тишины, пока работала рация. Потом вновь начинали бурить. Через каждые семь метров проходки, Андрей осторожно, стараясь не допускать рывков, поднимал трубы, Трилобит отсоединял замки, потом они с рабочим укладывали колонну на землю. Трилобит аккуратно ударял молотком по кольцу, надетому на керноприемник, то и дело крутя последний. Керн соскальзывал вниз по трубе и его укладывали в ящик.

Дейнега устраивался на складном брезентовом стульчике перед ящиками с породой и заполнял полевой журнал. Иногда он стучал геологическим молотком по керну, доставал кусок, разглядывал его вначале просто, поворачивая в руках, потом вставлял в глазницу часовую лупу и смотрел через неё. Часовая лупа – это было его собственное изобретение. Остальные геологи ходили с огромными складными линзами. Он клал вдоль ящика самодельную линейку-метр, сделанную из дранки, с нанесенными на ней делениями, и толстым фломастером размечал керн на равные промежутки, маркируя отдельные куски по номеру скважины и глубине. Если слой по мнению Дейнеги оказывался интересным, он отбирал образцы через каждые тридцать сантиметров керна, наклеивал бирку из толстого медицинского пластыря и помещал в отдельные пакетики, которых каждый вечер сворачивал великое множество из крафтовой бумаги.

Когда начиналась самая жара, Андрей останавливал работу и отправлял мужиков купаться. Оставив Егора над очередным ящиком, сам забирался в тень от балка, обматывал голову смоченной в воде футболкой и пару часов читал, потом час спал тут же, закутавшись в брезент. Будили его мужики, вернувшиеся в лагерь. Они всякий раз приносили несколько крупных хариусов, которых сразу заворачивали в холстину с солью и прикапывали под балком. Обедали тем, что осталось с завтрака и вновь запускали установку, бурили до десяти вечера, до вечернего сеанса связи, а потом ещё до часа ночи, когда уложив по ящикам последний керн, глушили станок, умывались по пояс под рукомойником и садились ужинать. С Егором они успевали больше, он ежедневно брал на себя обязанности повара, и не приходилось

отряжать для этого Трилобита. Сергей Сергеевич готовил отменно и доверял кухню только Егору. Бичи же на вахтах допускались лишь до мытья посуды. Когда Егору удавалось подстрелить тетерева или глухаря, готовил Трилобит. В такие дни Андрей заканчивал смену вдвоем с рабочим. Трилобит же ощипывал и потрошил птицу, набивал её внутренности размоченными сухофруктами, обмазывал перцем и солью, потом уходил к реке, в специальной закапушке набирал глины, возвращался и обмазывал тушку целиком. Когда глина чуть подсыхала, Сергей Сергеевич раскидывал угли заранее разведенного костра, клал туда птицу и вновь зарывал в угли, набрасывая сверху ещё тонких сухих прутьев. Потом следил, чтобы огонь лишь чуть теплился. Через полтора часа он разрывал костер, доставал крепкий, раскаленный глиняный кокон и укладывал на жестяной поднос с нарисованными цветами и ставил в середину стола. Покончив с птицей, он переодевался в рабочее и шел к бригаде вынимать последний за сегодня керн.

Ночами, которые в июле на Приполярном Урале мало отличаются от дня, Андрей спал плохо. И даже не от жары, жара немного спадала, не от солнца, приходящего в окно балка уже в три часа ночи, для того восточное окно и закрывалось картонкой. Всё чаще, проснувшись, потревоженный криком птицы или от собственного худого сна, садился на ступеньках балка и курил, дожидаясь пяти утра, когда будет прилично шуметь паяльной лампой, кипятить на треноге воду в кастрюле, чтобы закинуть внутрь содержимое пары банок консервированного рассольника на обед и гречневую крупу на завтрак.

Андрею не спалось. Всё чаще и чаще думал он о злополучном дне, когда случилось в его жизни страшное, что теперь мучило, заставляло шептать неумелые слова молитвы, когда никто не видел и не слышал. Он представлял Алёнку, дочку Слепнёвой, ровесницу его сестры, её же одноклассницу... Представлял ее выросшую, окончившую, как и его сестра, школу и уехавшую учиться в город. Он пытался вообразить, как она выглядела бы сейчас, что носила, как стриглась.

– Девицы, – говорил он Лизке и Алёнке, возвратившись из школы и застав подружек, разбросавших по всей комнате лоскутки и катушки с нитками, – Когда уже настанет в доме порядок? Лизавета, у нас один стол на двоих только потому, что некуда поставить второй. Можно не занимать его под всю эту фигню?

Девочки смеялись, быстро собирали свое шитье и убегали в родительскую комнату. На пороге Алёнка или Лизка, или они обе, поворачивались и показывали Андрею язык. Он грозил им кулаком, хмурил брови, но только они скрывались за занавеской, улыбался. Он любил сестру. Да и злился понарошку, словно просто для того, чтобы призвать мелюзгу к порядку.

Он катал подружек на мотоцикле, возил на Хмерское озеро купаться. Однажды Алёнка наколола ногу стеклом, какой-то дурак разбил бутылку на пляже и оставил, не собрав осколки. Он нёс её на руках до дороги, где в тени орешника, у ограды кладбища он оставил свой «Минск». Алёнка плакала, обхватив его шею руками, а Лизка, его Лизка бежала рядом и повторяла: «Не плачь, пожалуйста, не плачь». Слепнёвой дома не оказалось, и Андрей, напустив на себя уверенный вид, залил перекисью рану, а потом, прокалив на конфорке пинцет, вынул из ранки зеленое бутылочное стекло.

– Всё хорошо, девочка! Всё уже хорошо.

Как случилось, что в толпе, вышедших на воздух из клуба, Алёнка оказалась с краю? Как случилось, что рядом не было его Лизаветы? Как вообще могло сделаться так, что он пустил Людку на водительское место? Почему он не крутанул руль на себя, чтобы свернуть с дороги и затормозить о столб или в забор Ермаковых? Ведь за мгновение до удара, он понял, что столкновения не избежать. Почему не сделал этого?

Не было никакого замедленного кино. Это сейчас могло казаться, что вечность прошла с мига, как Людка нажала на акселератор, до того, когда он закричал «Тормози!», а потом еще вторая вечность до удара. Людка с перепуга вместо тормоза жала на сцепление и одновременно

газ. Машина не остановилась, а лишь взревела на отпущенном сцеплении. Все быстро. Асфальтовая дорожка от поворота до клуба. Чья-то белая рубашка, глухой удар, потом еще один, уже не такой сильный и крики. Машина не проскочила дальше и только у пожарки, Андрей крутанул руль и отправил «москвича» в кювет. Он выскочил из кабины, выбрался из канавы и рванул к клубу. Навстречу ему уже бежали. Его схватили за рубашку, за руки и потащили за собой. Никто не понял, что он не сидел за рулем. Впрочем, какая разница, кто сидел?! Это был его автомобиль и его вина. Только его.

Когда подвели, девочка уже не дышала. Чуть поодаль на земле сидел незнакомый мужик, чей-то родственник, обхвативший руками голову в испачканной белой рубашке. Женщины с остервенением набросились на Андрея. Закричали. На его голову и спину сыпались удары. Те, что держали его, наконец, отпустили, и вот уже он почувствовал ярость мужских кулаков. Кто-то со всей силы толкнул его ногой в спину, Андрей упал. Он не защищался, только, сам того уже не желая, прикрывал голову руками.

И сейчас, на ступеньках балка, обхватывал ладонями голову, словно старался защититься от воспоминаний. Вскрикивала северная птица. Андрей смотрел на часы, вздыхал, поднимался и шёл за водой на водораздел к ближайшей болотине. Возвращался с двумя полными ведрами, ставил кастрюли на решётку и треногу. Он отмерял положенное количество гречневой крупы, забрасывал в кастрюлю. Откручивал тугую пробку паяльной лампы и аккуратно, чтобы не расплескать бензин, лил тоненькой струйкой в маленькую железную воронку. Слепни кусали в шею и руки. Потом накачивал насос паяльной лампы и вставлял её в раструб треноги. Эти простые действия успокаивали. Просыпались мужики. Из балка появлялся Егор с приемником в руках, вешал его на опору навеса кухни, долго крутил ручку, настраивая на новости.

«Радиостанция голос Америки на коротких волнах», – разносился над тайгой бодрый голос из-за океана, – «Вы можете слушать наши передачи на частотах...» Закипала и начинала пыхать под крышкой каша. Трилобит закуривал «Астру» и, не вынимая сигареты, брilsя перед маленьким карманным зеркалом, прислонив его к алюминиевой миске. В этом сезоне он отращивал шкиперскую бороду.

Каждый день было так. Только воскресенье считалось полувыходным, вставали поздно, в половину седьмого, а бурили только до обеда. Вообще, несмотря на жару, работа спорилась. Они уже сделали больше, чем планировали, и Андрей подумывал, чем черт не шутит, авось удастся закончить проходку и заактивировать скважину уже на этой вахте. А если повезет с бортом, сможет он побыть с женой и дочкой две недели вместо одной.

Трилобит видя, что Андрею хочется к жене и дочери, старался пуще обычного, гонял и рабочего. Сезонник, как и Сергей Сергеич, был из старых теребянковских кадров, но нездешний. Каждую весну приезжал он в Инту из Салехарда, с той стороны Оби. Немногословный сорокалетний мужик, тоже бывший сиделец. Звали его по-староверски Митрофан, но имя со временем сократилось вначале до Мифы, а потом и до простого «Миха». Был он мужик честный, но неторопливый, с ленцой, что для северов в рамках приличий. Больного не корчил, от переработок не ныл, но делал только то, что скажут и не движения больше. Говорил мало, разве что по делу или только если считал нужным. Для бывших зеков, особенно тех, у кого сроков набиралось больше двух, это считалось нормальным. Сидел Миха трижды. Первый раз – коротко, год, а потом, как рецидивист, уже по три. Всякий раз отправлялся он по этапу за одно и тоже: избивал смертным боем отчима, ломал о спину тому то черенок от лопаты, то просто палку. Отхаживал ногами, да так, что того отправляли в больницу, а Митрофана везли на суд и опять на зону. Доставалось отчиму за непочтительное и грубое отношение к матери. На зоне Миху уважали. Он бы и в очередной раз угодил, но Божьим промыслом отчим помер сам, украв у матери зарплату и перепив самогонки, пока Миха отбывал третий срок. С тех пор прошло уже десять лет. Был Миха на хорошем счету у Теребянко, который на вопрос кадровички каждой весной приказывал: «оформлять».

Выглядел Миха примечательно, таких тут называли «чудики» или «чума». На голове копна рыжих, расчесанных на прямой пробор выющихся волос, очки в замотанной изолентой роговой оправе с толстыми стёклами, из-за которых глаза казались чуть на выкате. В нерабочее время, сняв сапоги, Миха переодевался в черные лаковые ботинки, в которых ходил и за грибами и на рыбалку. Ботинки всегда выглядели новыми. А может быть, Миха просто достал где-то несколько одинаковых пар. Северный завоз непредсказуем.

– Говорят, под Сыней старые зоны расконсервировали, – сказал Миха как-то в воскресенье, когда Егор, споря с радио, вдруг завел за завтраком разговор о Солженицыне и ГУЛАГе. Егор называл себя демократом и время от времени проводил среди своих политинформацию.

– Что значит «расконсервировали»? – язвительно поинтересовался Егор.

– В шестерку, например, привезли пять платформ досок и бруса, поменяли полы в закрытых бараках, окна новые вставили. В двенадцатой крыши шифером покрыли, вокруг барачных покосили. Засыпали свежий шлак, вышки новые подняли, на сваях. Дороги грейдером выровняли, гудроном законопатили, – монотонно перечислил Миха, и потянулся за томатной пастой, чтобы залить ею накрошенный в гречневую кашу репчатый лук.

– Откуда знаешь? – удивился Егор. Андрей тоже посмотрел на рабочего с интересом.

– Рассказывают, – Миха, размочил армейский ржаной сухарь в чае и теперь обильно посыпал его сахаром.

Все смотрели на него, ожидая продолжения.

– Ну а что тут рассказывать. Лесопилки в Инте и Кожиме под завязку в работе. Весь распил идет в Сыню. В Сыне на старых фундаментах три офицерских барака построили. Говорят, в Харпе то же самое. Но про Харп сам не знаю, может быть уже и слухи. А вообще, слухи всякие ходят, но по всему понятно, что готовят всё к массовым посадкам.

– Да что ты городишь?! – Егор вскочил из-за стола, и выключил приемник, который потерял волну и теперь громко шипел под брезентом кухонного навеса.

– Какие посадки? Перестройка! Ты понимаешь, что происходит? Пе-ре-строй-ка, – он произнес последнее слово по слогам.

Миха не ответил, впился зубами в сладкий бутерброд, и прикрыл глаза, наслаждаясь.

– Бреднятина! Фантазия какая-то, – волновался Дейнега, – Англичанин, ну, скажи ему, какие посадки? Какие? Не тридцать седьмой, а девяносто первый! Уже невозможно. Посадки они какие-то выдумали. Ну, пусть, отремонтировали какую-то зону. Что с того? Надо иногда ремонтировать. Небось, из-за совдеповского раздолбайства, там с хрущевских времен ремонт не делали.

Андрей промолчал. Он, вдруг, решил, что Егор, просит его поучаствовать в споре, не как друга, а как бывшего осужденного. И это ему не понравилось, показалось обидным.

Надо сказать, до Андрея еще с весны доходили слухи о «расконсервации». Вдруг появилось это слово. Странное, непривычное для этих мест, опасное, как всё незнакомое. Слово-захватчик, сразу заполнившее собой разговоры на кухнях и в очередях, казенное, будто из некой бумаги, директивы, указания: «р а с к о н с е р в а ц и я».

Ходили слухи о новой железнодорожной ветке, что размечали от Сыни на запад, под углом к существующей узкоколейке на Усинск. Дескать, видели в тех местах несколько бригад топографов, не приписанных ни к рудуправлению, ни к ВоГЭ, ни к лесоустроителям.

Сложно сказать, что было правдой, а что фантазией. Но в самой Сыне ремонтировали котельную. От пилорамы, где Андрей покупал доски для семейного ложа, раз в два дня гримыхал до шахты жестяными бортами груженный досками «КРЗ», там стояли под погрузку железнодорожные платформы. В гостинице рудуправления с апреля поселились офицеры. Они ходили по городу в повседневной форме с черными погонами и лычками инженерных войск, но никто не сомневался, что это войска МВД, новая лагерная охрана, а черные погоны у них, «потому что секретность».

Начальник кожимского склада воркутинской экспедиции, Вадим Соломонович Резин, худой и скользкий как густера, ещё из гулаговских, легенда и персонаж здешних анекдотов, отпуская по накладной на бригаду Андрея, три коробки тушенки говяжей, три коробки тушенки свиной, сгущенного молока коробку, два пакета сухарей армейских, мешок сахара, два ящика консервированного рассольника, два ящика борща, шесть кило конфет «коровка», коробку печенья «юбилейное», коробку супа сухого «сборный», шестнадцать пачек грузинского черного байхового, первый сорт, рязанской чаеразвесочной фабрики номер два, сплюнул в пузырящуюся пыль и, глядя куда-то в сторону рудника, проскрипел, проскрежетал шестернями кадыка, выдавив меж своих железных зубов: «Говно опять удумали. Всё неймется». Андрей вроде и понял, про что говорит Соломоныч, а значения не предал. Какая разница? Его не касается, а и без того сна нет.

Про Соломоныча поговаривали, что служил он не то начальником лагеря, не то большим чином в системе ГУЛАГ. Однако оказалось это всё фантазией интинских вахтовиков. Как-то Андрей разговорился со стариком и узнал, что тот ещё мальчишкой попал на зону из Ленинграда, да так с этих мест и не двинулся. Женился, родил и уже схоронил сына, потом жену. Женился во второй раз, двух дочерей от второго брака отправил учиться в Москву. Они остались в столице, звали к себе. А он прирос к этим местам, где в вечной мерзлоте могилы обеих жен и сына.

Андрей давно заметил, что слухи на северах быстрые, но какие-то бестолковые. В каждом либо страх, либо надежда. Авось, если не рухнет, вот-вот и пойдет совсем по-другому, наладится жизнь, увеличат зарплаты, удвоят северные, откроют новую шахту или горную выработку, протянут железнодорожную ветку через хребет от Сыктывкара на Ханты-Мансийск или автомобильное шоссе до Воркуты аж от самой Печоры. Север, некогда гордый, уверенный в себе, богатый, теперь подобно погорельцу заглядывал в рот всякому пришлому начальству. А проку от того начальства никакого. Приезжают болтуны из Москвы и болтуны из Сыктывкара, сгоняют народ на собрания, где столы против привычного почему-то не покрывают красной тканью. Говорят часами про всякое, для этих мест непонятное. Приезжие обещают ненужное, записывают в свои блокнотики вопросы из зала, обещают разобраться и уезжают. Не имен их никто не запоминает, ни должностей. Но уже на следующий день рождаются слухи, в которых всякий может найти утешение. И людям тут, если есть надежда, все едино: правда то или какая закука.

Но бродящая промеж бичей и кадров болтовня о расконсервации раздражала. Слух перерос в молву, а Теребянко говорил, что молва во время вахты мешает, снижает выработку. Теребянко в этих вопросах можно было доверять.

– Хватит уже, – Андрей встал из-за стола, отставив миску, – Сергеич, у тебя подъемный блок не скрипит, а воет уже. Рабочему пора на буровой быть, десять минут восьмого.

Егор удивленно посмотрел на друга. Андрей не любил командовать. Старался избегать повелительного тона, стеснялся своего начальственного положения старшего бурового мастера.

Трилобит с Михой ушли. Егор тщательно выскоблил миску, и посмотрел на Андрея.

– Ты чего на своих взъелся? Нервный какой-то стал. Ночами не спишь. Случилось что?

Андрей махнул рукой, мол, ерунда, отвернулся от стола, поставил ногу на скамейку и стал перематывать портянку. Пусть и была между ними искренность, однако Егор про аварию знал лишь, что кто-то погиб, а Андрей получил судимость. Знал от жены, та от сестры, но выводить подробности у друга не решался – захочет, сам расскажет. Андрей не рассказывал.

Дейнега, видя, что товарищ не в духе, зашёл на буровую, посмотрел, как Трилобит прокаливает на паяльной лампе свечи бурового станка. Вернулся в лагерь, покрутил колесико настройки приёмника, выкурил несколько сигарет, наконец, собрал рулетку, буссоль, молоток,

уложил в рюкзак топор и заготовленные заранее колышки, налил в термос чай и отправился к реке размечать площадки под шурфы и канаву.

Андрей ждал связи. На буровой Миха ритмично звякал молотком о замок буровой трубы. То и дело доносился матерок Трилобита, следившего за работой. Гнус, просушивший крылья, гудел уже ровно и монотонно за стенками балка, заглушая рацию. Пусть в эфире было полно народа, однако поисковые партии, буровые, бригады шурфовиков, по неписанному правилу ждали, что заговорит База. Наконец, Кожим, «проснулся».

– Сова три, сова три, – это база, прием! – сквозь шелест помех раздался голос Теребянко.

– База-база, на связи, сова три, – Фёдор звучал уверенно, словно станция стояла на соседней опушке, а не в сорока километрах.

– Фёдор Григорьевич, мы к тебе послезавтра, вторник-вторник, как понял?

– Понял тебя, Егор Филиппыч. Как прибудешь?

– Вездеходом от Тёзки с Заостренной.

– Понял-понял, Егор!

– Сова три, конец связи.

– Сова девять – сова девять, приём!

– Здесь сова девять! – Андрей держал танкету «Карата» на вытянутой руке, иначе старая рация начинала коммутацию и переходила на свист и вой.

– Англичанин, завтра жди у себя. Привезу Коробкиных и топографа. Рабочего своему скажи, что на сутки он с топографом, вешку таскает. Как понял? Прием? У Тёзки всё готово?

– Понял, База! Понял. У Дейнеги полный порядок. Личных нет?

– Личных нет, Сова девять. Твои, Англичанин, здоровы-здоровы, видел вчера. Конец связи.

И то ли от того, что Теребянко видел вчера Дарью и Варвару, то ли от завтрашнего рейса к ним вездехода с известнейшими на весь полярный Урал братьями Коробкиными – проходчиками во втором поколении, балагурами и матершинниками, стало вдруг у Андрея на душе легче.

Коробкиных уважали по всей ВоГЭ. Было их три брата, все служили на проходке с юности, переняв опыт отца, который копал шурфы да канавы по низовьям Колымы ещё с сорок четвертого. Коробкин-отец родился в Печоре, оттуда и призвался в сорок втором на фронт. После контузии под Сталинградом, завербовался вольнонаемным Дальстроя за Обь. Работал по олову. Если бы числился в штате управления, то вместе со всеми получил госпремию, а так только копил квартальные, да посылал мальчишек после шестьдесят пятого через профсоюзы на все лето в Крым, в лагерь «Орленок». В конце шестидесятых переехал с семьей в Инту. А как выросли пацаны, так пристроил их Коробкин к ремеслу. Все низкорослые, коротконогие, с широкими грудными клетками, сутылые, длиннорукие, с огромными мозолистыми ладонями. Словно зачатые не русским мужиком и бабой комячкой, а прямо проросшие из крови горных троллей, чухонской каменной пуголицы.

Коробкина-отца Андрей не застал, только слышал о нем рассказы. С братьями же сталкивался регулярно. Давали Коробкины главную выработку экспедиции, всякий раз выполняя и перевыполняя. За сезон получали каждый по красному вымпелу, грамоте и премии. Грамоты сдавались матери, которая вкладывала листки в огромный, обшитый бархатом альбом, а вымпелы вешались в общий их сарай, в котором без движения третий десяток лет стоял отцовский автомобиль «Победа». Автомобиль был в полном порядке, регулярно заводился, аккумулятор на зиму относился в тепло, но права братья не получили, потому дальше чем до конца гаражей, машина не двигалась. Все трое почти не пили, хотя, посмотрит случайный пришлый человек на их красные, обветренные лица, да что там лица, рожи, образины, так и подумает: «Колдыри!»

Но четыре раза в год Коробкины позволяли себе выпить и изрядно – на Новый год, на день рождения отца, в марте, удивительным образом совпавший с днём смерти Вождя всех народов, на день шахтёра в конце августа, и в октябре, на День конституции. Ещё в армии привыкли они, что день Конституции – большой праздник, когда в столовую и из столовой ходят не в ногу, выполняя команду «сбить шаг», приветствуют офицеров не отдаванием чести, а кивком головы. В этот день во всех воинских частях и гарнизонах огромной страны не по уставу, а по традиции, разрешалось солдатам-срочникам вспомнить, что они граждане, равные в правах с офицерами, и государством любимые дети. Потому и был тот день праздником свободы и радости, в столовой на ужин давали не жареную селёдку, а хек или треску, а после ужина показывали кино про Зорро.

В марте и октябре Теребянко специально приезжал на точку, где копали в этот момент Коробкины, чтобы своим присутствием, вселить в братьев уверенность и покой, что начальство безобразий не допустит, потому и чинить их не надо. А вот День Шахтёра братья встречали в городе и гудели вместе со всей Интой, однако под контролем жен и матери.

В конце октября Андрей пригласил братьев Коробкиных на свадьбу. Коробкины пришли, обёрнутые в новые полусинтетические костюмы, как в целофановые пакеты, в белых рубашках, из которых торчали тёмные, жилистые шеи, и при галстуках. Сунули, стесняясь молодым в руки подарки, в плотной красной бумаге, перевязанные шелковыми лентами.

– На эта, ёксель-моксель, Англичанин. Андрей и Дарья, то есть, с праздником вас, – не то хором сказали, не то каждый слово в слово повторил.

На свадьбе к спиртному не притрагивались, хотя Витька, раздухарившись, всё порывался налить, больше молчали, даже, когда все кричали «горько», только улыбались, и лишь когда начались танцы, аккуратно покачивали своих жён «под итальянцев». Теребянко усадили во главе стола, на почётное место, рядом с родителями Андрея, говорил он главный тост, долгий и серьёзный, в котором было и про молодых, и про работу и про Север и «про патиссоны». Тост был похож на речь и, если бы в конце, сам Теребянко не гаркнул «Горько!», гости принялись бы аплодировать.

Платье на свадьбу заказывали в Воркуте в ателье. Шили по выкройкам из польского журнала мод. Выбиралось оно с расчетом, чтобы скрыть округлившийся живот невесты.

– Ты что, дурища, краснеешь? – шептал Андрей в ухо Дарье, когда они танцевали танец молодоженов.

– Живот виден. Решат, по залёту.

– Кто решит, глупая? Это не про нас. Кто из деревни, ты или я? Ты какая-то строгая.

– Невеста в положении, некрасиво.

Но, то ли платье справлялось со своей ролью, то ли гости все были сплошь люди деликатные, то ли действительно, никого это тут не волновало. Женятся любящие друг друга люди, и хорошо, и правильно.

Тогда же, на свадьбе, вышел он покурить на улицу, и не то ветром хлестнуло его по щеке, не то злой памяткой, вернувшейся болью.

– Что грустишь, Англичанин? Устал? – Витька в шутку стукнул кулаком Андрею в поясницу, – закурил и развел плечи, разминаясь навстречу ветру, – Эх, весна бы уже поскорее! А свадьбу, как зиму, всегда перетерпеть надо, потом уже нормальная жизнь начнется, полный кроссинговер.

И этот дурацкий Витькин «кроссинговер» рассмешил Андрея. Он вернулся в ресторан и уже весь вечер отплясывал с Дарьей под «Землян» да «Modern Talking», стараясь аккуратно прикрывать живот невесты от случайных толчков. К полуночи свадьба выдохлась. Дейнега, весь вечер говоривший тосты, и балагуривший наравне с приглашенным ведущим-тамадой, вдруг уснул, положив руки на стол. Теребянко о чем-то тихо разговаривал с отцом Андрея. Они наклонили друг к другу головы, и отец, как обычно, когда волновался, то брал, то вновь клал

на стол вилку. Пионеры, бывшие сокурсники Андрея, обнявшись с одноклассницами Дарьи, перетоптавались под «медляки» в центре зала. Рядом, в одиночестве самозабвенно выкручивал странные танцевальные па Витька. Со своей кучерявой головой, в расстёгнутом черном пиджаке, с рубашкой, выпроставшейся из-под брючного ремня, он был похож на циркового пуделя, позабытого дрессировщиком в кабаке и выполняющего какой-то однажды заученный номер. Он то поднимал обе руки вверх, то вдруг словно отталкивал кого-то, то вдруг принимался кружиться на месте, задрав подбородок и прикрыв веки.

Наталка сидела тут же, повернувшись спиной к столу, и смотрела на мужа. На соседнем стуле примостился изрядно нетрезвый директор училища, Борис Борисович. Он что-то рассказывал, то и дело, отирая лысину ладонью.

– Как напьётся, дурак-дураком. Смешной же, – кивнула Наталка на мужа, когда Андрей сел рядом и налил себе в стакан сок.

Андрей улыбнулся.

– Краснов, ты у меня лучшего сотрудника увёл. Точнее выражаясь, – директор срыгнул, прикрыв рот рукой, – сотрудницу. И вот, декрет теперь, потом ещё декрет, потом ещё. Кто работать будет?

– Наталья Михайловна, идите к нам работать библиотекарем! – Директор вдруг обнял Витькину жену за талию и придвинулся ближе, – Вы уютная женщина, всё у вас правильно, все ладно. Одеваетесь по моде. Образование не главное, главное – это характер и прилежность. А я чувствую, что вы прилежны.

– А ну ка, лысый хер! Руки убери свои! Руки, я сказал!

Витька в два шага добрался до жены и теперь рвал с плеча пиджак.

– Не понял, молодой человек. Вы по какому праву со мной так разговариваете? Вы, собственно, кто такой? – Директор поднялся со стула.

– Я тебе, блевота, сейчас объясню права, – Витька наконец справился с пиджаком и схватил директора за галстук.

Откуда-то, со стороны гардероба бежали Коробкины, на бегу срывая шапки. Младший, Жека, уже кричал: «Ща я этого таксёра урою!».

– А ну стоп! – Откуда ни возьмись, возник Теребянко, оттеснил Витьку и заслонил собой директора.

Наталка уже держала мужа за руку, а тот с красным лицом с шумом выдыхал из ноздрей воздух, словно бы что-то попало в нос и теперь мешало.

– Борис! Нажрался, веди себя прилично! Огребешь, потом бюллетенить станешь. Здесь не училище, здесь на должность не посмотрят, – сказал он, обернувшись и смерив взглядом директора, который застегнул на все пуговицы двубортный пиджак и теперь поправлял галстук.

– А ты мне не начальство, – огрызнулся директор, но чувствовалось, что прыть с него слетела, однако хмель остался.

– Раскомандовался! Я тут вообще по приглашению жениха, лучшего выпускника училища, медалиста. И если какой куртуазности не знаю, то я человек рабочий, сам передовик. И не люблю, когда мне тычут, да ещё и грубят. Я Наталье Михайловне должность предлагал в техникуме, вакантную должность. Она, как-никак, дочь шахтёра, моего товарища, можно сказать. Ныне покойного, конечно. И я чувствую некоторую ответственность за её судьбу, как товарищ отца, покойного нынче. Вот, молодой человек мне нагрубил, пытался драку завязать, а ты, Егор Филиппыч, вместо того, чтобы разобраться, унижаешь меня, выставляешь перед людьми каким-то алкоголиком или хуже того, человеком неприличным. А у меня двое детей, жена, меня уважают в Сыктывкаре. В конце концов, я член парткома комбината, самой сильной партийной организации в районе.

– Уймись, – коротко сказал Теребянко, повернулся, посмотрел на братьев и жестом приказал им покинуть ресторан. Братья послушно побрели к выходу, где, подобрав широко разбросанные в пылу шапки и шубы, их уже ждали жёны.

Сзади к Витьке подошёл отец Андрея, приобнял его и Наташу за плечи:

– Пойдём, молодые люди, за стол. Надо закусывать. Всё от того, что выпиваете, а не кушаете нормально. Стол прекрасный, угощения ещё остались. Пойдём, Виктор.

– Пусть сначала извиниться за свое хамское поведение, – сказал из-за плеча Теребянко директор.

– А ты чего мою жену лапал?

– Егор Филиппович! Ну, посмотри сам! Вот как так можно? Да я же. Она же покойного друга лучшего дочь.

– Лапал! – Витька вырвался из объятий отца Андрея, и теперь, сопя, заправлял в брюки выбившуюся рубаху.

– Молодой человек! Виктор, если не путаю, – обратился Теребянко к Витьке, – это недо-разумение. Не станем портить праздник молодожёнам.

Андрей всё это время сидел, положив локоть на стол, и смотрел на происходящее со стороны.

Тут он поднялся, оказался выше всех ростом и шире в плечах даже старшего брата Коробкина.

– Пойдём, сказал он Витьке, и вы, Борис Борисыч, присоединяйтесь, выпьем мировую. Спасибо обоим. А то действительно, – он прищурился, – Женщины уже волновались, что за свадьба без драки! Теперь традиция соблюдена, пора и закусить.

Все рассмеялись. И после этих слов Андрея сразу стало всем спокойно и хорошо. Пионеры опять обхватили девушек и закачались под музыку, а остальные вернулись за стол.

– Молоток, Англичанин! – Теребянко улыбнулся и протянул Андрею руку, – способность остановить или не допустить драку – хорошее умение на северах. Уверенность у тебя есть, мощь внутренняя. Продолжай в том же духе. Погоди, мы из тебя здесь начальника сделаем. Умеешь с людьми разбираться.

– С людьми умею. С собой не получается, – ответил Андрей и встретил вопросительный и внимательный взгляд Теребянко.

10

В день приезда начальника и Коробкиных, буровую запустили в пять утра, и уже успели пройти до завтрака семь с половиной метров.

Вездеходчики с ночи гнали машины по тундре, а потом пробирались через проплешины тайги с той стороны водораздела по старой вездеходной дороге, выходящей на просеку. Рыканье двигателей стало слышно во время завтрака. Дейнега вдруг замер, перестал стучать ложкой о дно своей персональной эмалированной миски и поднял вверх палец, призывая к вниманию. Ветер донес эхо перегазовок со стороны Заостренной.

– По реке что ли идут? – покачал головой Трилобит, – Странно.

Все знали, что по реке в этих местах вездеход не пройдет. Каждые двести метров реку била судорога перекаатов и берега сжимались в узкий каньон. Но это было только далёкое эхо, по многу раз отражённое от каменных рёбер гряды. Лишь через тридцать минут, подминая под себя тонкие, невезучие берёзки, в трёх сотнях метров от лагеря выбрались из тайги на просеку два желтушного цвета экспедиционных ГТТ и один грязно-зелёный МТЛБ, тот, что тут называли «лягушка» и который считался персональным транспортом Теребянко. Разбрызгивая вокруг себя роскошное рычание двухсотсильных движков, вездеходы, по заросшей просеке, что по ровному просёлку, ринулись в сторону балков.

– Торопятся. Вон, как дымом пыхают, – проворчал Трилобит, встал из-за стола и отхлебнул какао из алюминиевой кружки с обмотанной изолентой ручкой, – Видать, Филиппыч уже спозаранку водил нахлобучил. Жди, Англичанин, и тебе сейчас прилетит от щедрот начальства.

Сергей Сергеич имел свои особые приметы на все случаи жизни. Казались они на первый взгляд диковинными, но на изумление Андрея, работали.

Например, если при погрузке харча на складе, оказывалось, что сигарет с фильтром хоть закуришь, тут тебе и «Стюардесса», и «Опал», и «БТ», и даже какие-то экзотические корейские с иволгой на пачке, Сергей качал головой:

– Опять конфет нам не достанется.

И верно, оказывалось, что любимых конфет «подушечка» на складе не было, предлагали только засохший, неразгрызаемый «старт».

Иногда Андрей разгадывал «приметы», иногда парадоксальное мышление Трилобита ставило его в тупик. Иной раз, несколько дней кряду размышляя над странной логикой помбура, он не выдерживал и просил объяснить. Всякий раз Сергей Сергеич поражал.

– А что тут сложного? Сигарет болгарских навезли двадцать коробок, значит, спрос на них будет. А кто их тут курит?

– Кто?

– Кто-кто, – передразнивал Андрея Трилобит, – Геофизики, да всякая другая интеллигенция. Сигарет много, значит не только сыктывкарцы, но и ленинградцы приехали, а у них самогонный аппарат и фляга тридцатилитровая. На чем они самогон ставят? На карамельках, на подушечках. Вот и тью-тью подушечки. Тут никакого секрета.

Вездеходы остановились на вертолетной площадке, не доезжая балков, разом заглушили двигатели, чтобы случайно не помять скарб бригады, разбросанный среди кустов карликовой березки и гнилых пней.

Когда выключает человек своё шумное и гордое железо, тайга молчит с полминуты обиженно, а лишь потом с яростью жены, у которой муж, напившись на чужие, всю ночь храпит в сениях, обрушивается на человека всем своим гудом гнуса, ропотом верхушек елей, постуками, клёканьем далёкой воды и дребезгом ветра, запутавшегося в антенне радиостанции. И пока не выскажет своё, не отбранит, то и не уgomонится.

Теребянко спрыгнул с борта, поздоровался со всеми за руку. Махнул рукой Коробкиным, чтобы выгружались и прошёл в столовую. Стол к его приезду освободили от посуды. Теперь на вымытой и протёртой досуха клеенке лежала стопкой документация по скважине и полевые журналы Дейнеги.

Теребянко внимательно просматривал каждую тетрадку, слушал, что Дейнега рассказывает о заложении канав и шурфов на левом берегу реки, рассматривал построенные Егором разрезы.

– Ладно, – наконец сказал он, – Тут всё понятно. Для очистки совести подсчете границы слоев и айда к Фёдору на Шарью. У него аномалия перспективная, прямо по разлому. Они уже с магнитометрами отбегали, теперь провода тянут. Насчет трубки не уверен, но вполне может быть погребенная россыпь. Как-то уж все складывается.

Он достал из кармана разломанную пополам пачку Казбека. Выудив папиросу с длинным мундштуком, продул и постукал гильзой о ноготь большого пальца. Задумался. Все молчали.

– Англичанин, – наконец начальник, обратился к Андрею, – Какая у тебя техническая скорость получается?

Андрей пододвинул к Теребянко журнал проходки. Тот полистал, облизывая губы, куря и складывая дымок в мудрёный крендель. Наконец, закрыл журнал и покачал головой.

– Загонишь если не людей, то технику. У меня один ухарь уже два буровых станка за сезон запарол. Из твоих, кстати, из пионеров. Тоже торопыга выискался. Кто вас учил по две с поло-

виной смены в день гнать? Вам Борисыч такое преподаёт? Тогда зря твоему Витьке не позволил по шее этому пролетариату умственного труда надавать. Или собственная инициатива?

Андрей молчал.

– Чтобы в последний раз я такое видел. Уволю к чертовой матери, отправишься в Крым патиссоны окучивать. Больше двух смен по шесть часов, люди у тебя работать не должны. По пятнадцать часов у него пашут, как на заводах Форда до забастовок. Профсоюза на тебя нет. Ты куда гонишь?

Андрей потупился.

– А я смотрю, судя по тому, как Дейнега керн описывает, рейсовая скорость у буровой – вторая космическая. А тут, вон чего творится. Он от земли оторвался и в мечты улетел. Хочешь домой к жене и дочери, скажи, выпишу отгулы.

Когда Теребянко кого-то распекал, остальные делали вид, что их рядом просто нет, боялись пошевелиться. Но тут кто-то гроыхнул на складе коробкой с консервированным супом.

– Кому там неймётся? У нас производственные вопросы.

В палатку заглянул Миха с виноватым лицом.

– Я тут продукты актирую, Егор Филиппыч, – сказал он, поправляя очки и щерясь.

– А ну ка иди сюда, Митрофан, – приказал Теребянко.

Миха нехотя вошёл в палатку, предвкушая, что сейчас будут ругать его, но не понимал за что. Была на нём красная, огненного цвета рубаша, по случаю приезда начальства брюки со стрелками и лакированные ботинки.

– Вы по сколько часов в день работаете?

– По пятнадцать, иногда по шестнадцать.

– Это по две с половиной смены?

– Почему две? Утренняя у нас короткая, а вечерняя длинная. Ну и хвостик там ещё, – ответил Миха невпопад.

– Какой хвостик? Леминга? – Теребянко вопросительно наклонил голову, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.

– Ну, если жара спадёт, то чуть-чуть ещё доделываем. А что? Хорошо идём, Егор Филиппыч. Премия будет хорошая.

– Ещё один стахановец, – Теребянко опять закурил и вроде внешне подобрел, – Хвостики у них. Если бы мог, приказ вывесил, что больше двух смен подряд работать запрещено. Только я и такой приказ не могу отдавать, мне «охрана труда» за это по шапке накидает. Однако устно требую не гробить технику, работать не больше двенадцати часов в день, после чего регламент и отдых станку. Понял меня, Англичанин?

Андрей кивнул. Он не то, что не привык, когда его ругают. Он вдруг с удивлением почувствовал, что ему всё равно. Пусть несправедливы слова начальника, пусть и похвалить по хорошему бригаду надо, а не ругать, но спорить не хотелось. Онемел он вдруг дремучим зековским молчанием, тем, что помогает по первости перетерпеть на зоне, а потом остается с человеком, ходит за ним, ждёт словно часа, когда станет единственной силой.

– Вон, Коробкиных тоже дома ждут, – Теребянко отхлебнул из поданной Михой чашки, ржавчину грузинского чая с брусничным и малиновым листом.

Коробкины подняли взгляды от земли и заулыбались, показывая, что да, ждут их дома, ёксель-моксель, и даже очень ждут. У каждого жена и двое ребятишек.

– Этим только волю дай, вообще всю вахту до нар не доберутся, даром что трое. По очереди прямо в шурфах перекемарят, да и потащат опять породу на поверхность. Нам такие подвиги ни к чему, у нас не золотая лихорадка и не дикий запад. У нас обычный север, место, куда синяя стрелка компаса указывает. Усёк, бригадир?

– Так точно, – отчего-то зло и по-военному ответил Андрей, словно сбил щелчком с рукава невредную, но досадную гусеницу.

– Ну и славно, – Теребянко недоверчиво посмотрел на Андрея, – На вот, он протянул через стол нечто тяжелое, завёрнутое в фольгу.

В свёртке оказались жаренные Дарьины пирожки с брусничным вареньем, которые тут же разделили на всех.

Через час Миха ушёл с Топографом и Дейнегой привязывать шурфы, а Трилобит с Андреем запустили буровую. Теребянко возник на краю поляны, обошёл установку, понаблюдал, как работают, побродил вдоль ящиков с керном, достал несколько кусков, мигнул в лупу, поковырял ногтём, капнул пипеткой из маленькой баночки, потом сплюнул жёванный окурок в берёзку и отправился к реке.

После ухода Теребянко, стало спокойнее. Вдвоём молча дотянули смену до конца, заклинили и сорвали керн, остановили промывочный насос, отпустили патроны станка и начали медленно поднимать колонну, труба за трубой. Андрей двигался неторопливо, колготился заученными движениями, однако казался больше обычного растерянным и раненным своими мыслями. Сергей Сергеич молча надевал элеватор на верхний паз замка, ждал, когда Андрей поднимет трубу лебёдкой, вынимал подкладную вилку, затем вновь вставлял в замок, но уже в нижнюю прорезь муфты, после чего включал трубооборот. Андрей отправлял свечу вверх. Свеча шла с уютным, чуть подвывающим звуком, словно бы сотня комаров размером с небольшого зайца закручивалась воронкой над буровой. В какой-то миг он, зазевался и пропустил момент выхода замка из устья, всполошился звонок на верхушке мачты. Сергеич выругался и зыркнул на мастера. Андрей, словно очнувшись, остановил колонну, оглянулся по сторонам, встретился с сердитым взглядом помбура и развёл руками, мол «с каждым бывает». Дальше он уже не ошибался. Выбрав колонковый набор, поднял и уложил керноприёмник, дождался, пока Сергеич освободит и разберет по ящикам керн, показал руками, что работа окончена. Трилобит заглушил двигатель. В оглохшей тишине где-то снизу у реки лопнул дуплетом «ижак» Дейнеги. Андрей приподнял брови и вопросительно взглянул на Трилобита, тот кивнул.

– С грибами и сухим молоком потушу, – сказал он задумчиво.

Умывшись по пояс под рукомойником, переодевшись в свежую энцефалитку, Андрей оставил помбура «шаманить» торжественный обед, а сам, взял спиннинг и поспешил к реке. Навстречу по просеке, бухая о тропу закатанными болотными сапогами, широко шагал Егор. Заметив Андрея, Дейнега, по обыкновению, поднял над головой руки с добычей. В каждой он держал по небольшому тетереву.

Молодые тетерева к концу июля ещё не нагуляли жир и размером не отличались от цыпленка бройлера, но мясо их было нежным, потому тетерев считался хорошей добычей, не в пример рябчикам с куропатками. Тех на Гряде водилось в изобилии, и подстрелить их большой удачи не требовалось. Впрочем, Андрею нравилось свистеть в манок, замирать, прислушиваться, стараясь среди гула тайги различить ответный поиск.

– Как дела? – поинтересовался Андрей у друга.

Дейнега махнул рукой.

– Привязались. Фихман хороший топограф. Раз-два, ход пробежал и замкнулся на репер. Я им с Теребянко ямку показал под скалой, хариуса на вертушку ловят. Пижоны. Мелких отпускают.

Покурили, поговорили об охоте и разошлись. Андрей спустился к реке. Заостренная в этом месте делала две петли, то раскрываясь в плёс, то каменными ладонями перетирала стремнину подобно налитому колосу, то вдруг, путала белую леску струй неровной ячеей каменной сети. Шумная, спешащая расхототаться в вымоинах эхом река раскидала вдоль левого берега глухие ерики, в ямках которых стоял на глубине серебристый хариус, непуганый никакой снастью, скорый на расправу, что с мальком, что с блесной. Иная рыба под два килограмма сгибала спиннинг пополам.

Фихмана Андрей увидел сразу, как вышел на узкий каменистый пляжик, отделяющий небольшой затон от остальной реки. Топограф стоял, широко уперев ноги в берег, и сосредоточенно сматывал леску на широкую катушку «Нева», вглядываясь в омут, где посверкивала в толще воды вертлявая блесна. Посреди реки оседлал большой камень Миха, пустивший по течению самодельную муху из пёрышек и пуха. Чуть поодаль, на вросшем в берег, выбеленном и отшлифованном паводками, бревне сидел Теребянко и писал в полевой журнал. Энцефалитку Теребянко снял. Она лежала рядом на камнях, аккуратно сложенная и придавленная планшеткой. Рукава клетчатой ковбойки были закатаны, и руки начальника ВоГЭ сплошь облепили комары, отчего даже издали казались покрытыми густой шерстью.

Теребянко никогда не пользовался репеллентом. С конца мая, когда появлялся в тундре гнус, ходил он пару недель с опухшим лицом и руками, похожий на запойного, но когда отёк спадал, насекомых уже не замечал. Кожа привыкала и не откликалась на укусы, словно дубела, превращалась в броню от солнца и ветра.

Теребянко поднял глаза от записей, заметил Андрея идущего по кромке воды и жестом показал ему на место рядом с собой. Андрей подошёл и сел на плоский тёплый камень.

– Значит так, – Теребянко закрыл журнал и перетянул его резинкой, – Думал, как начать разговор, не придумал, потому начну запросто. Отец на свадьбе, рассказал и про срок, и про машину, и про девочку. Попросил приглядеть за тобой, потому как считает, что характером вы с ним похожи, а он совестливый.

Андрей сморщился и посмотрел за плечо Теребянко, где Миха вытаскивал из воды очередного хариуса.

– Так что, если думаешь, вроде как не в свое дело лезу, не серчай. Судя по тому, как скис и замкнулся, что-то внутри тебя разболелось. Если не печень, а ты непьющий, значит совесть, – это, считай, на всю жизнь. Для русского человека болезнь привычна. Здесь таких хроников каждый второй. Едут залечивать душевные раны.

Теребянко оглянулся, высмотрел на склоне среди осоки чахлый кустик багульника, потянулся к нему, сорвал несколько длинных маслянистых листочков, перетер между пальцами, поднёс ладонь к лицу, понюхал.

– Слушай меня, Англичанин. Жить с такой совестью, как с простатитом: радости мало, но можно. Хотя много видел и дураков. Те отчаялись, все внутренности свои на оливье изрубили и сожрали без майонеза. Их не жалко, а вот жён их да детей жалеть приходилось. Самим же, как ни крути, конец один.

– Какой? – спросил Андрей.

– Обычно стреляются по пьяному делу, – Теребянко прищурил один глаз и наклонил голову, – или от той же водки мрут.

Они помолчали.

– Но это, Андрей, не про тебя, – Андрей поёжился, Теребянко редко его называл по имени, – правильно, что работой глушишь. Это по-мужски. Только во взгляде равнодушие. По фигу тебе всё стало. Если бы три года назад я тебя в поезде с таким взглядом повстречал, на работу не позвал. Мне отчаявшиеся не нужны. Может, случилось, что кончился в тебе Север и пора возвращаться домой к отцу и матери. Ты ведь не дичок, не перекасти-поле, ты парень основательный. Подумай. Мне, конечно, такого кадра потерять обидно. Но сезонником я тебя всегда возьму. Лучше опытный сезонник, который вкалывает по-честному, чем постоянный кадр, от которого и люди и техника стонут. Жизнь разная, не всякая тоска – плохо.

Андрей, слушая Теребянко, на него не смотрел. Он снял сапог, вытряс попавшее в них крошево карликовой берёзки, вновь надел. Достал из внутреннего кармана куртки пачку сигарет, закурил.

– Чтобы в твоей жизни не произошло, какая гадость или несправедливость, помни, что ты...

– Да помню. Советский человек, – не дал ему закончить Андрей.

– Мужик, прежде всего. Когда совсем немоготу, книжку читай или, – Теребянко понизил голос, – дрочи. Всё едино, поможет, от мыслей дурных отвлечет, авось и утешит. Говорят, ещё молиться хорошо. Но про то я не понимаю, научный атеизм в институте прогуливал. Вот, книжек тебе хороших привезу. Слышал, Федькину библиотеку по журнальчику всю за пару лет перетаскал. Геофизики давеча смеялись, что если завести формуляры, то ты бы во всех отметился.

Андрей улыбнулся.

– Ну, вот и поговорили. – Теребянко хлопнул Андрея по плечу, – Своих не загоняй, себя береги. У тебя есть за кого отвечать. Лады? И думай. Отец с матерью у тебя не молодые уже.

Андрей кивнул, и почувствовал, как от упоминания матери, защекотало вдруг за ушами и засвербило в переносице. Не то соринка, не то чепушинка, не то просто солнечный зайчик, скачущий между берегов, вынырнул из воды и юркнул под ресницы. И если бы в тот же миг, позади Теребянко, Миха не вытащил из воды большущего хариуса, поскользнулся, всплеснул руками и свалился с камня на котором стоял, оглашая скалы мудрёным хохотливым матом, заметил бы начальник, как блеснула в уголке глаза Андрея слеза. А так вроде и не заметил, или виду не подал.

11

С середины августа неожиданно рано для этих мест открылись Карские ворота, холодный полярный ветер приносил ежедневно на Гряду то знобливую хмарь, то утренний заморозок, а то и настоящий снегопад, занавешивающий полосатую, яркую тундру белым тюлем. Андрей с бригадой две с половиной недели бурил на точке, где стояли лагерем шумные ленинградские геофизики из пятидесят второй партии. Потом пять суток ждал борт в непривычной для себя праздности, пока геофизики заканчивали работы на дальних аномалиях. Теребянко бегал в Москве по коридорам министерств, пытаясь понять, какие перемены ожидать в финансировании. В это время открылись для полётов горы, и диспетчеры Интинского авиаотряда по своему усмотрению ломали график забросок.

В столице менялась власть, о чем говорили все радиостанции. Геофизики не пошли на профиля, а сидели по своим палаткам и выкручивали волну в приемниках. Буровую законсервировали и подготовили к зимней транспортировке. Ящики с керном, сложенные в штабеля ждали на вертолетной площадке. Партия собиралась к перемещению на запад, ближе к Усе, на Большую Сарьюгу, где уже рыли шурфы Коробкины. Дейнега несколько дней хворал. В среду, пока Трилобит с Михой помогали Андрею снимать с буровой электроприборы и носить ящики с керном на вертолётку, Егор целых полчаса барахтался в ледяных водах Тальбейшора. «Ну и ухарь», – решил Андрей, когда, вернувшись в сумерках в лагерь, увидел Ивана, кипящего чай на их печке и Егора, зарывшегося в верблюжий спальник и явно не в себе декламирующего какие-то стихи.

– Бродский. Письма к римскому другу, – подкидывая очередное полено, сказал Иван, – Перекупался. Тридцать девять у него. Аспирина дал и ещё горсть каких-то таблеток.

Фамилия поэта Андрею ничего не говорила, да и было это неважным. Он поставил ружье в угол и подсел к печке. За самодельным столом Борода, ещё один однокурсник Дейнеги, раскладывал пасьянс, крутил ручку настройки мощного «Альпиниста» Андрея, вылавливая убегающую волну и попыхивал душистым заграничным табаком, который скручивал в самодельные сигаретки. Голос Америки транслировал выступление, вернувшегося в Москву президента Горбачева.

Дейнега зашёлся кашлем.

– Ты бы курил на улице, – раздраженно сказал Андрей, обращаясь к Бороде, – видишь же, хворает человек, ему и без того дышать тяжело.

Борода не стал спорить, накинул ватник и вышел из балка. Ночью Егору стало совсем худо, и Андрей подумывал, что надо будет утром вызвать санитарный борт. Но к утру температура спала, и приятель забылся сном. Днём приходил Фёдор, смотрел на спящего Дейнегу и качал головой.

– Что его нырять понесло? – спросил Андрей.

– На спор, – буркнул Фёдор. В пионерском лагере, наверное, привык всё на спор делать, да на слабо. И эти аспиранты такие же. Мальчишки! Оказались среди взрослых людей, а детство так и прёт. Теперь, не дай бог, пневмония.

Егор проснулся к обеду, сделал над собой усилие и выбрался в столовую. Погрустил над миской с рассольником, расковырял картошку, кем-то из геофизиков переваренную почти в пюре, и вернулся в балок спать. К шести вечера ему опять сделалось худо, бредил, дышал громко и часто. На вечернем сеансе связи Фёдор вызвал сан-борт.

С самого утра, в субботу, накануне Дня шахтёра, они вслушивались в небо. Казалось, то с одной, то с другой стороны доносится едва различимый шум винтов. Один раз они даже заметили далёкий вертолет, идущий курсом на запад километрах в трёх от места стоянки партии.

Оранжевый «Ми восемь» с запачканным сажей хвостом прилетел к полудню и встал под погрузку с вращающимся винтом. Борода с Иваном, пригибая головы, с трудом преодолев струю воздуха, помогли приятелю залезть внутрь машины. Андрей загодя собрал пожитки Дейнеги в синий рюкзак, а ружье и рыболовные снасти упаковал во вьючник, который вместе со своим перетасил к остальным вещам бригады. Они уже несколько дней лежали аккуратной горкой в углу вертолетной площадки, укрытые брезентом и готовые под погрузку. Андрей наскоро простился со всеми, обнялся с Фёдором. Знакомый пилот из кабины показывал знаками, что надо поторапливаться.

Они летели низко над яркой осенней тундрой, исчерченной ровными штрихами вездеходной колеи. Летели над тайгой, растерявшей свою силу в сутолоке за гряды с тундрой и верховыми болотами, поросшими мхом и карликовой берёзкой. То и дело внизу срывались со своих мест тетерева, чиркали по верхушкам елей крылом и ныряли внутрь зеленой темени. Дверь в кабину была открыта и заклинина. Пилот сидел в кресле с открученной спинкой, словно в седле, поставив ноги по обе стороны, так что под левую коленку ему упирались ручки раздельного управления двигателями. Держа рычаг двумя руками, он покачивался из стороны в сторону, то и дело заваливаясь на пустующее кресло бортового инженера. В салоне Андрей и Егор оказались одни. Но вскоре грузовую кабину заполнили рыбаки. Лётчик трижды заходил на посадку и подбирал неулыбчивых и словно вечно чем-то недовольных интинцев. Они молча проходили в хвост и садились на лавки вдоль бортов, примостив тяжёлые яровские рюкзаки между ног. Аромат свежепойманного хариуса пробивался даже сквозь горячий дух палёного керосина. На последней стоянке на борт забрался техник и, примостив брезентовый мешок с рыбой под лавкой Андрея, уселся на своё место в кабине.

– Ну, браконьеры, теперь домой! – громко сказал пилот и обернулся, пытаясь различить в темени салона закутанного в ватник Дейнегу, – Егор, ты там жив ещё? – Тот поднял ладонь вверх, показывая, что в норме, грех жаловаться. Пилот связался по рации с вышкой, предупредил, что из-за внезапного тумана несколько раз пролетел мимо точки, но теперь больной на борту и можно звонить в больницу, чтобы присылали скорую.

Здесь привыкли, что летуны берут левых пассажиров, которые щедро расплачиваются за извоз либо деньгами, либо добытым в тайге. Инструкция подобное негодичество запрещает, но на севере, лишенном дорог огромном крае, где, если повезло, от жилья до жилья по прямой через тайгу восемьдесят километров, а может случиться, что и все двести, вертолёт – единственный транспорт. Лётчики – племя спесивое, споры с ними тщетны, чреватые опалой, а то и проклятьем небес. Потому, вертолёты тут еще с пятидесятых годов заклинали, как заклинали духов здешних болот или погоду. Если ты пришлый, горластый, да с гонором, сегодня,

конечно, настоишь на своем, но после устанешь неделями ждать положенного рейса. Всегда можно найти повод, чтобы к тебе не лететь: то горы открыли, то ветер боковой, то топливо из-за промежуточных посадок всё потрачено. Потому всякий отряд, всякая партия несёт пилотам подаяние, жертву, завернутую в хрустящую крафтовую бумагу, а то и в льняную тряпицу: копчёную рыбу, тушку глухаря или пяток рябчиков с топорщащимся пушком над набитыми черникой зобами. Даже всеильный князь-самодержец Теребянко, и тот с интинским авиаотрядом старался не ссориться. На День геолога в апреле приглашал руководство отряда за счет экспедиции в Воркуту на праздничный концерт и банкет. На День воздушного флота в августе надиктовывал поздравительные телеграммы с перечислением экипажей, достойных поощрения.

Неучтенных пассажиров выгрузили в Кожиме, после чего вертолёт вновь набрал высоту и полетел вдоль железнодорожной насыпи. Километра за четыре до Южного ми-два резко завалился на бок в крутом развороте, и в иллюминаторе плоской серой медузой, тающей и поблёскивающей на солнце, появилась Инта. Обнимающие город с трёх сторон болота мигали в небо титановыми бельмами оправленных бурым мхом омутов. Здесь, перед городом, тундру густо расчертили вездеходные дороги. То и дело с высоты замечал Андрей ржавый остов техники, запутанной когда-то забравшейся в трансмиссии нежитью, от того по самые траки увязшей в трясине и теперь на радость природе, проросшей березкой и багульником.

На подступах к человеческому жилью тундра теряла первобытную силу, и во всей этой свалке чудилась уже не природная, неведомая воля, а корневое человеческое разгильдяйство.

Сброшенные с кузовов кем-то нерадивым жестяные бочки, белое алюминиевое исподнее рухнувшего в незапамятные времена самолёта, красные газовые баллоны, снятые неведомыми рабочими с прицепов и аккуратно оставленные ржаветь под одинокими сухими елями, взятыми за ориентир, да так и позабытыми. И наконец, за хаосом вагончиков-балков, годами ожидающих отправки в тайгу на прицепе или грузовым рейсом вертолёта, появилась строгая азбука навигационных знаков Интинского аэропорта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.